

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

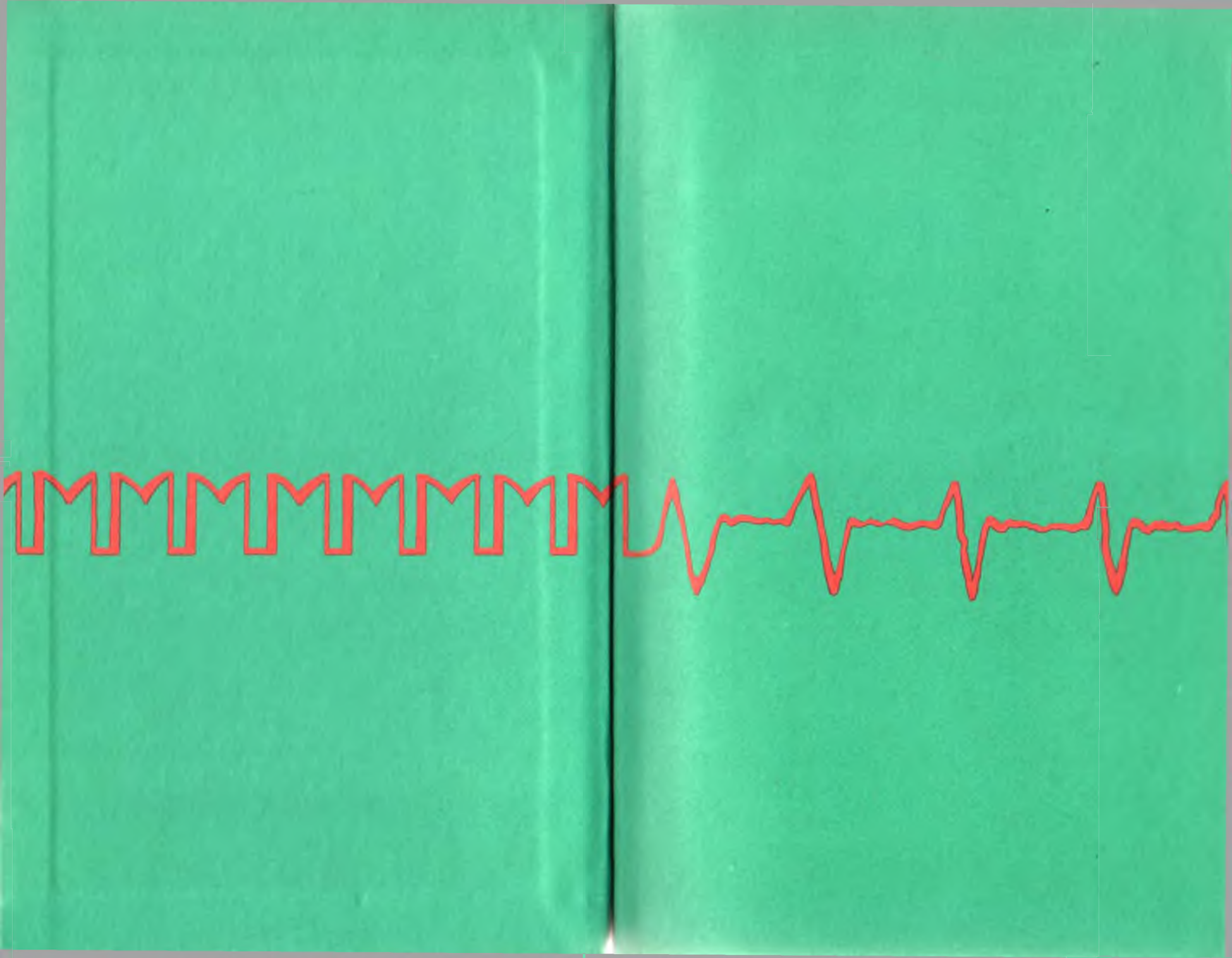
П. Мошенцева

ТАЙНЫ
КРЕМЛЕВСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ



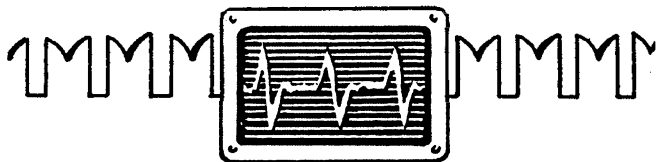
Записки хирурга





П. Мошенцева

ТАЙНЫ
КРЕМЛЕВСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ



КОЛЛЕКЦИЯ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
Москва 1998

УДК 947
ББК 63.3(2)
М 38

Литературная запись Т. Земсковой

Оформление А. Симанчука

В книге использованы фотоматериалы ИТАР-ТАСС
и из личного архива автора

ISBN 5-89048-006-5

© «Коллекция — Совершенно секретно», 1998

*Посвящается
мужу моему
Мошенцеву Вячеславу Васильевичу,
дочерям Милушке, Любочке
и внукам Саше, Наде и Игорю*

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ,

или Шутка классика

На склоне лет сон пропадает и никакие таблетки не могут помочь. Ищу в памяти что-нибудь хорошее, чтобы забыться хотя бы часа на два, на три... То детство вспоминаю, то привычную дорогу в свою бывшую больницу.

На работу я всегда ходила пешком из дома, что в Лаврушинском. Его еще называли «писательским». Шла по Большому Каменному мосту, по Малому Каменному, по Александровскому саду. Потом ныряла в проход и оказывалась на улице, где и стояла наша больница. Одной стороной она выходила на Новый Арбат, тогда это был проспект Калинина. А второй стороной — на улицу Грановского. Больницу так и называли: больница на Грановском или «кремлевка», хотя никакой вывески на здании не было. Очень любила я эти утренние прогулки.

А во сне почему-то всегда вижу другое: молодые лица и умоляющие глаза моих больных во время войны... И снова слышу эти тяжелые слова: «газовая гангрена... столбняк... ампутация...» И снова беру скальпель и режу, режу живую ткань...

Кремлевские больные снятся мне редко... Разве что нога из-за занавески с огромным нарывом на большом пальце, которая тычется мне прямо в лицо. В этот момент я всегда просыпаюсь и уже наяву начинаю вспоминать, как было на самом деле.

Однажды незнакомый человек позвонил в мою дверь и сказал, что подана машина, уже готовы все инструменты и стерильные материалы, а мне надо срочно собраться. Нам никогда не говорили, куда и

к кому нас везут. Не сказали и в этот раз. Задавать вопросы было запрещено. Приехавший сообщил только, что, возможно, придется прибегнуть к небольшому оперативному вмешательству. А в общем — ничего необычного.

И действительно, выезжаем с медсестрой на специальной машине, оборудованной всем необходимым, включая стерильные хирургические инструменты. Стекло у машины такое, что изнутри ничего не видно.

Приехали куда-то за город. Привели нас на второй этаж дома дачного типа. Входим в спальню. В ней почти никакой мебели. Кровать, догадываюсь, за занавеской. Сопровождающий показывает, где мне расположиться.

Огромная и пустая комната и мрачные тяжелые занавески. Еще по пути сопровождающее лицо, человек неопределенной внешности, словно в маске, вежливо сказал:

— Вы должны делать все молча, никаких вопросов и разговоров.

Занавеска раздвинулась, и я увидела ногу. На большом пальце был огромный нарыв. Я стала делать все, что в таких случаях полагается, — обезболела, вскрыла, промыла. Сестра подавала инструменты. Тоже молча. За все время я произнесла самые необходимые слова, чтобы все-таки больной за занавеской услышал:

— Придется часть ногтя удалить.

За занавеской молчали. Ответил сопровождающий:

— Делайте все, что считаете нужным.

Операция длилась около двух часов. Невидимый мужчина лишь иногда судорожно вздыхал — какую-то боль он, конечно, испытывал.

Под конец я сказала, что завтра необходимо при-

ехать еще раз: посмотреть палец, перевязать. Сопровождающий кивнул, поблагодарил меня, и мы уехали.

На следующий день я узнала, что к невидимому пациенту поехал заведующий нашим хирургическим отделением.

Прошло несколько лет. По случаю какого-то праздника в ординаторской устроили чаепитие. Собрались всем отделением. Сидим, разговариваем. Заведующий, Иван Васильевич Дьячков, вдруг меня и спрашивает:

— Вы всех своих пациентов знаете?

Я удивилась.

— Теперь, конечно же, всех.

А это были уже хрущевские времена.

— А вот и нет! — говорит Иван Васильевич, хитро улыбаясь. — Одного не знаете! Помните, вы ездили на вызов вместо меня? По поводу большого пальца на ноге? Знаете, кто это был? Сталин.

Тогда я подумала, что мало кто из нас, врачей, знал Сталина как своего пациента. Здоровым его назвать было нельзя, но и лечиться он не любил: никому не доверял, и, наверное, более всего — врачам.

Сталин был единственным больным-невидимкой. Всех остальных я, конечно, знала в лицо и до сих пор помню. Кого только не приходилось оперировать и лечить за тридцать лет работы в «кремлевке»! Жукова и Рокоссовского, Королева и Шостаковича, Хрущева и Брежнева... А еще Утесова, Лемешева, Яблочкину, Шолохова...

Так и звенит в ушах голос главного врача больницы Беззубика Владимира Григорьевича:

— Прасковья Николаевна, прошу принять одного пациента. Я знаю, больных у вас много, но это

особый случай. Только, пожалуйста, сначала познакомьтесь с историей болезни. Медицинская сестра уже несет ее вам.

А я уже собралась идти домой после суточного дежурства и бесконечной двойной смены. А тут на тебе — снова работа! Конечно, про себя чертыхнулась: «вот эксплуататоры!» Но делать нечего: больной — прежде всего.

Читаю историю болезни: «Шолохов Михаил Александрович...» — и далее на трех последующих страницах расписан диагноз и настойчивая рекомендация врача о немедленной госпитализации. Но, по видимому, Михаил Александрович не внял совету местного доктора. Далее неровным почерком записано: «Больной категорически отказался от госпитализации и выпроводил врача (это мягко сказано). И так повторялось три дня».

«Ну и ну! — подумала я. — Теперь мне предстоит нелегкий бой со знаменитым писателем. Судя по всему, человек он своевольный, капризный. Да и время на лечение терять не хочет. Вот почему главный врач попросил меня его принять: надеется, что я-то справлюсь с таким пациентом».

Только попыталась собраться с мыслями, как вдали в коридоре показалась каталка с Михаилом Александровичем. Я пошла навстречу, представилась:

— Здравствуйте, Михаил Александрович. Я — ваш лечащий врач, зовут меня Прасковья Николаевна. Что беспокоит в данный момент, как самочувствие?

Шолохов мой вопрос пропустил мимо ушей и авторитетно заявил, что он поступил в больницу только на несколько часов, и приказным тоном добавил:

— Посмотрите меня и сразу же выпишите!

Откровенно сказать, первый раз в моей практике больной ставил врачу подобный ультиматум.

Я решила попробовать его переиграть. А что поделаешь? Шолохов есть Шолохов.

Времени было мало. Сразу же отдала распоряжение сестре:

— Быстро больного в перевязочную!

В перевязочной я осмотрела Михаила Александровича и согласилась с диагнозом поликлиники. У больного был острейший геморрагический артрит коленных суставов. Шолохову я строго сказала:

— Необходима пункция.

Сделав хорошенько обезболивание, приступила к манипуляции. Большие шприцы быстро наполнялись кровянистым содержимым. Я выливала эту жидкость в таз, при этом показывала больному и сокрушенно приговаривала:

— До чего же вы себя довели, Михаил Александрович!

Больной притих. Воспользовавшись паузой, я моргнула сестре, которая догадалась, что ей следует делать. Больного быстро повернули на живот, наложили гипсовые лангеты, хорошо забинтовали и отвезли в палату. Только в палате Шолохов понял — это надолго.

Но, безусловно, ему стало легче. Хитро улыбаясь, вдруг спросил:

— Скажите, пожалуйста, откуда вы такая?

— Какая? — удивилась я в ответ.

— А такая... Как волчица, набросились на меня, не дав опомниться, превратив меня в гипсовую статую... И вот я оказался в плену, да у кого? У женщины, хоть милой, но женщины. — Посмотрел на меня внимательно и повторил: — Настоящая волчица!

Тут уж я не выдержала и рассмеялась.

— Михаил Александрович, вы угадали. Я же тамбовская.

Шолохов совсем развеселился, прямо аж залился смехом.

— Вот совпадение — тамбовская волчица...

В общем, лед между нами растаял. Мы быстро нашли общий язык и даже подружились. Михаил Александрович оказался добрейшим человеком. Любил пошутить, держался доступно и просто. Глаза у него были хитроватые, веселые. Когда во время обхода, утреннего или вечернего, я заходила к нему в палату, всегда говорил:

— Прасковья Николаевна! Ну что вы все ходите да ходите... Присели бы на минутку, рассказали бы что-нибудь о себе. Кто вы? Что вы? Как вы? Кое-что я о вас слышал. Но сами-то расскажите что-нибудь. Сядьте.

Как-то во время дежурства я присела возле его кровати.

— Вы же называли меня волчицей... Так вот, расскажу вам про волков. Недаром существует выражение «тамбовский волк».

Шолохов слушал очень внимательно, ни разу не перебил, не задал ни одного вопроса. Потом сказал:

— Знаете что... Вы интересно рассказываете... Но не только сам случай интересный. Вы и писать можете. Пишите!

Я удивилась:

— Как писать?

Он сказал:

— Да вы так рассказали, что я даже запятую нигде бы не переставил.

Я опять спрашиваю:

— Что? Прямо так взять и писать?

Он говорит:

— А что? Вы, наверное, свое настоящее призвание поменяли на профессию доктора.

Конечно, это была шутка. Ему хотелось сказать мне приятное. Но спустя много лет что-то заставило меня засесть за письменный стол и задуматься: кто я? что я? как стала кремлевским хирургом?

ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА

ДЕРЕВНЯ ПАРЕВКА И РЕКА ВОРОНА

Родом я из села Паревка Инжавинской волости Тамбовской губернии. Когда-то давно на месте нашего села стояло глубокое озеро, окруженное лесами. Озеро постепенно высохло, и осталась впадина, по которой проложила себе русло речка Паревка. На правом, крутом ее берегу теснились покосившиеся домишки. Эта сторона села называлась Ключевкой. Здесь было множество родничков. Самый большой бил из отвесной каменистой горы. Родник прозвали святым. Вода из него не портилась годами и считалась целебной.

На другой стороне реки раскинулась основная часть села — Ольховка. Дома здесь стояли в несколько рядов и принадлежали в основном крестьянам зажиточным. Помню, ольховские дети обзывали ключевских голытьбой, задирались, бросали камни. Ключевские не оставались в долгу, пуская в ход комки глины, наклепанные на веточки ивняка, — нечто вроде стрел. Эти снаряды частенько достигали своей цели, так как ключевские занимали более выгодную позицию — стреляли сверху.

Очень украшала окрестности красавица река Ворона, в которую впадали другие, более мелкие реки, сродни нашей Паревке.

Мне довелось объездить много стран, но подобной красоты я нигде не видела. Правый берег, го-

ристый, на многие километры покрытый лесами, являлся как бы продолжением нашей Ключевки. Леса славились могучими дубами. Как богатыри, возвышались они над другими деревьями. Кроны их смыкались, образуя шатер. В траве синели колокольчики и белели крупные ромашки.

Река, извиваясь и петляя по низине, образовывала на своем пути озера. С вершины горы можно было увидеть островки, заросшие травой и камышами. Во время половодья они скрывались под водой. Помню, что река казалась мне морем. Бывало, идешь вдоль берега и создается впечатление, что вода в реке возвышается над берегами.

В реке водилось много рыбы и раков. Большими стаями летали дикие утки. Ворона была нашей кормилицей, особенно выручала в голодные годы. Кормил и лес, где обитало множество зверей: дикие кабань, рыжие лисицы, зайцы, медведи. Особенно много было волков, которых в Ключевке остерегались. Они досаждали, как правило, зимой, когда, оголодавшие, ночью подходили к деревне. Обычно нападали всей стаей. Первым пробирался во двор вожак, за ним — остальные. Волчий вой, лай и визг собак, блеяние овец... Иногда волки нападали на людей. Единственным оружием в нашей семье служила железная заслонка от печной трубы. Дедушка брал кочергу и колотил по ней изо всех сил. Звук этот не нравился волкам, но они все равно не уходили без добычи.

Родилась я за четыре года до революции в бедной части села, в полуразрушенной избушке. Говорят, что схватки у моей матери начались в тот момент, когда свекровь выталкивала ее на улицу, а муж старался втолкнуть обратно в дом.

Через несколько дней после родов мама со мной на руках и моей сестренкой, двухлетней Таней,

ушла от мужа в дом своего отца. Я завершила счет семейству, которое состояло из шестнадцати человек.

ЛИЦО НА ПОЧТОВОЙ МАРКЕ

Главой нашего семейства был мой дед — Афиноген Аксенович Трегубов. По сути, он заменил мне отца. Ему в то время не было и сорока пяти. Бабушка Аксинья вскоре после маминого возвращения умерла от туберкулеза.

Дед родился в семье зажиточной, где был хороший дом, сад, огород, большое поле, лошади, коровы и другая живность. Детей росло двое, и оба мальчики. А дальше — как в сказке. Старший, любимый сын, женился на некрасивой, но богатой. Младший, мой дед, послушался отца и женился по любви — на красивой, но бедной. Отец выгнал сына из родного дома, не дав ничего на обзаведение.

Тогда дед поселился в Ключевке. Земля там была бросовая. Даже за водой нужно было спускаться с горы и идти к далекому колодцу. Да еще по несколько раз в день: надо было и поить скотину, и поливать огород.

Жили все мы в избенке под соломенной крышей, с сенями, сколоченными из тонких жердей. Помню, что пол был земляной. В доме стояли большая печь с полатами, длинный стол, слаженный из досок, лавки. Посредине комнаты — люлька, в углу — разобранный ткацкий станок, а над ним — икона Божьей матери с лампадой. В сенях держали кочергу, рогац, два больших чугуна, лохань да два деревянных ведра. Больше не было ничего.

Нищета была удручающая. Дети спали в чем ходили. Одежда, мальчишковая и девчоночья, состояла из самотканых конопляных рубашек и штанов.

Летом бегали босиком или ходили в лаптях, которые плел дед. Зимой — одни валенки на троих. Их тоже валяли сами, они переходили от старших к младшим. Нам с сестрой Таней достались валенки несколько раз подшитые, латаные, не по размеру — мы проваливались в них почти с головой. Поэтому на улицу по нужде даже зимой предпочитали бегать босиком. На всю жизнь запомнилось ощущение тающего снега на ногах. Да еще когда бежишь туда и обратно, по пути кого-нибудь толкнешь или сама сядешь голой попой в снег. И все нипочем! У нас даже насморка никогда не было.

Жили дружно. Даже мы, дети, не знали, что такое драка. Все шло от деда. Его слово было законом для семьи. Нет, он не был деспотом, напротив — весь облик его излучал доброту. Она светилась в черных глазах, в улыбке. Он был задумчив, молчалив. Но если уж что скажет, послушаться его никому и в голову не приходило. Вдовцом дедушка остался рано и больше не женился...

— Хорошая, — говорил он, — разве на нашу бедность пойдет? Да и детей слишком много... А жениться на плохой... Так она только раздор принесет.

После Октябрьской революции жить нам стало легче. Мы первыми вступили в колхоз. Дедушку назначили инспектором района по качеству урожая. Он определял сроки посева и сбора урожая. У него были волшебные, необыкновенно чувствительные руки. Он погружал пальцы в почву и на ощупь мог определить, когда надо начинать сеять, когда полоть, когда собирать урожай. В каком-то смысле он был экстрасенсом. Думаю, что именно от деда я унаследовала некоторые экстрасенсорные способности. Мои руки тоже очень чуткие. Может быть, поэтому я и стала хирургом...

Дед дважды избирался делегатом на областной съезд колхозников. А его лицо было запечатлено на советской почтовой марке, которая долгое время была в ходу. Может быть, и сейчас находится в какой-нибудь коллекции.

ЛЕГЕНДА О ПРАДЕДЕ-УБИЙЦЕ

Любопытно, что основателем нашего рода был грек. Как он попал в Тамбовскую губернию, трудно объяснить. Женился на русской и остался в России навсегда. В нем ли дело или в чем другом, но семейные предания хранят много мрачных страниц из истории нашего рода. И якобы особенно страшным человеком был отец горячо любимого мною деда, мой прадед. Он славился невероятной жестокостью. Дедушка совсем с ним не общался, потому что тот насмерть забил его старшую дочь, свою внучку. Звали ее Аксинья. Когда дед уже был выселен из отчего дома, Аксинья зашла в сад, где они жили прежде, и залезла на вишню. Стала рвать ягоды, прадед увидел, поймал девочку и бил до тех пор, пока она не умерла... Вроде бы после этого наша семья порвала с ним всякие отношения.

Ходила по Ключевке и еще одна легенда, а может быть, и не легенда, а быль, которая, передаваясь из уст в уста, обрастала все более страшными подробностями, а потом стала преданием.

Прадед жил со старшим сыном Алексеем, которого горячо любил. Красавец, выше среднего роста, стройный, с большими черными глазами, обладающий к тому же прекрасным голосом, он имел успех у женщин.

Рассказывают, что внезапно рядом с домом прадеда вырос еще один дом — кирпичный, двухэтаж-

ный. И жили в нем муж, заядлый охотник, и жена — молодая, красивая, отличная от деревенских. Одевалась она по-городскому, со вкусом и, зная себе цену, держалась со всеми довольно высокомерно. Не упускала случая подчеркнуть и необыкновенную мужнину любовь. И так случилось, что Алексей влюбился в соседку и буквально потерял голову. Они стали любовниками. А в деревне ведь ничего не скроешь... Пошли слухи. Донесли мужу. Тот пригрозил Леше страшной карой.

Прадед прослышал про угрозу и решил убрать полюбовницу с дороги любимого сына. Когда соседка была одна, он подкрался к дому с охотничьим ружьем и выстрелил через окно. Заряд попал женщине в голову. И, как рассказывают люди, мозги несчастной красавицы разлетелись в разные стороны, налипли на потолок и на стены. У вернувшегося с охоты мужа волосы встали дыбом от этого зрелища.

Женщину похоронили. Муж убитой искал преступника, но безуспешно.

Прошло какое-то время, и соседи стали наблюдать совсем уж жуткую картину. С наступлением темноты за окнами печального дома загорались маленькие огоньки, а у ворот бегала, невесть откуда взявшаяся, большая белая собака.

Напуганные сельчане стали обходить стороной этот дом.

Примерно через год красавец Алексей опять влюбился. На этот раз — в девушку восемнадцати лет, с голубыми глазами, темными ресницами и длинной светлой косой. Звали ее Анной. Родители Анны умерли от тифа, и она жила вдвоем со старшим братом в большой бедности.

Многие парни заглядывались на девушку, но она ни на кого не обращала внимания. Ни в деревен-

ские компании, ни на гулянья не ходила. Слыла трудолюбивой и скромной, худого слова никто сказать о ней не мог.

Алексей был настойчив и, видно, покорило сердце девушки. В общем, произошло то, чего никто не ожидал — ни мой прадед, который хотел только богатую жену для сына, ни брат Анны, который не сомневался в ее непорочности. Анна забеременела от Леши и родила сына.

Прадед смириться и с этим не мог. Опять задумал ужасное...

Однажды брат, придя с работы, обнаружил сестру мертвой. Ее зарубили топором и сбросили в погреб. На стенах погреба остались следы от окровавленных пальцев. Видимо, какое-то время Анна была еще жива и пыталась выбраться наружу.

Брат бросился к люльке, где лежал ребенок. Она была пуста. Тут он услышал приглушенный плач, доносившийся с кровати. Из одеяла он извлек полузадушенного младенца — он был завернут в одеяло с головой.

На этот раз подозрение в убийстве падало на одного-единственного человека — моего прадеда, отца Алексея. Отыскалась неопровержимая улика — топор с прилипшими к нему длинными светлыми волосами. Он был найден в колодце возле дома. Прадеда посадили. В тюрьме он пробыл полгода и опять появился в деревне. Видимо, его выпустили, потому что безусловно он был ненормален, психически болен. А в больницу его нельзя было положить. В ту пору в деревне даже фельдшера не было.

Алексей очень тяжело пережил смерть Анны. Он больше не улыбался, перестал петь. Избегали его не только девушки, но и все жители деревни. Да и ему самому все стало безразлично.

Через некоторое время прадед все-таки женил Лешу на богатой. Но счастья не было, прожили они вместе недолго. Проклятье как будто лежало и на Алексее. Как рассказывают, его убил муж соседки, его первой любовницы. Убил — и сбежал из деревни. Исчез навсегда.

С тех пор кирпичный дом, один из лучших в деревне, стоял заброшенный, пустой. А возле другого дома, где когда-то жила Анна с братом, выла по ночам странная белая собака. Так, по крайней мере, гласит деревенская легенда.

Но неужели этот страшный человек, жестокий убийца и был моим прадедом? Не верю.

ОТЕЦ И АНТОНОВСКОЕ ВОССТАНИЕ

Одно из первых детских воспоминаний — восстание Антонова на Тамбовщине и мой отец на вороном коне. Поначалу Антонова поддерживали в основном зажиточные крестьяне, которым было что терять после установления советской власти. Но потом отряд стал увеличивать численность; в него начали вступать бедняки.

Дед рассказывал, что как раз в это время мой отец, Николай Иванович Татаринов, вернулся с нефтяного промысла из Грозного. Однажды ночью в его дом явились антоновцы и предложили вступить в отряд. Говорят, что отец отказывался. Они пригрозили рассчитаться с ним, припугнули оружием, и под страхом смерти он согласился.

Антонов был милиционером в Кирсанове, вернее, начальником уездной милиции, членом партии эсеров... Когда началась революция, он вернулся из ссылки, а осенью 1918 года уже поднял восстание. Постепенно его отряд превратился в армию числен-

ностью чуть ли не 50 тысяч человек. Антоновцы нападали на склады с оружием, на красноармейские части, милицию.

Антонову понравилось, как отец играет на гармошке, и он оставил его при себе на особом положении — услаждать слух своим искусством. С тех пор к отцу приклеилась кличка «Колька-гармонист».

Отец ушел из семьи сразу после моего рождения. Вернее, мама от него ушла. Он уже признался, что нашел другую женщину, в Грозном. Правда, потом он каялся, говорил, что бросит эту женщину, что любит только маму. Но мама не простила. Она была красивая и гордая. Отец был тоже хорош собой: высокий, кудрявый, с черными глазами. Я похожа на отца.

Когда мне было лет пять-шесть, я первый раз увидела отца. Он тогда уже состоял в отряде Антонова. Наш дом стоял на горке, на отшибе. Отец прискакал на вороном коне, за плечами — гармонь, в руках какой-то сверток. Мама что-то делала возле дома. Как сейчас, помню его улыбку и голос:

— Это детям.

Я выбежала на улицу и спросила:

— Кто это?

Мне сказали:

— Это твой отец.

Видно, отец хотел вернуться в семью. Он любил маму и не мог смириться с тем, что они расстались. Но мама по-прежнему не хотела прощать.

Отец хотел сойти с коня, чтобы повидаться с нами, с детьми. Кажется, это был 1919 год. Но мать бросила под гору его подарок. Сверток развернулся, и я увидела отрез ситца...

Отец в ярости ударил хлыстом вороного и рванул с места. Мама вбежала в избу и залилась горячими слезами.

Это было последнее свидание моих родителей. С тех пор мы ничего не знали об отце и считали, что он погиб при разгроме антоновского отряда. Восстание подавили, а сам Антонов был убит при аресте.

В автобиографии я потом писала, что мой отец был бандитом.

Дочь Люба сердится, когда я называю отряд Антонова бандой. Мол, сейчас другие времена, антоновское восстание было против советской власти, и все они были людьми благородными. Но я-то помню совсем другое... Эти страшные картины до сих пор стоят у меня перед глазами.

В нашей семье жил племянник деда Андрей, родители которого умерли от сыпного тифа, когда ему было всего десять лет. С четырнадцати лет он уже самостоятельно зарабатывал на кусок хлеба. Потом стал каменщиком. Работа была сезонная: летом он строил в городе дома, а осенью и зимой жил у нас в деревне.

В 19-м Андрей задержался в городе и возвратился только в январе. В селе прошел слух, что он стал коммунистом. Люди из отряда Антонова стали за ним охотиться. Но дед надежно прятал Андрея. Тогда антоновцы взяли в заложники маминого брата Ивана. А ему всего-то было шестнадцать! Ивана отвели в дом соседей, сын которых служил у Антонова. Мальчишку раздели догола и стали избивать шомполами, то и дело спрашивая:

— Скажи, красная сволочь, где скрывается твой брат?

Но Иван не выдал Андрея. Полумертвого, его бросили в сени. С большим трудом он выполз на улицу, где его и подобрала добрые люди.

Но дядю Андрея все-таки поймали. Разъяренные антоновцы устроили над ним самосуд. Вывели раз-

детого на улицу, приказали и всем нам выйти из домов.

Поставили дядю Андрея возле проруби, ударили чем-то тяжелым по голове и столкнули под лед.

ЦЫГАНЕНОК И КОЛДУНЯ

В детстве я была очень худенькая, с тонкими руками, ногами-палочками и большой головой. Большой она казалась из-за копны черных, густых, кудрявых волос. Смеялась я редко, но никто не помнил меня и плачущей, хотя я часто сажала себе синяки и вечно ходила в царапинах. Прозвище у меня было «цыганенок».

— Эй, Панечка, — шутили старшие, — почему у тебя волосы такие густые да кудрявые? Не девочка, а вылитый цыганенок! Наверное, подобрали тебя, когда из кибитки вывалилась...

Когда меня кто-нибудь обижал, я и впрямь верила, что я найденыш, и жалела себя за то, что моя настоящая мама неизвестно где.

Второе прозвище — «чабаниха» — казалось мне более обидным. Оно было связано с родителями отца, которых все называли чабанами, то есть вечными пастухами. Я же этих людей не только не любила, но и боялась до смерти. Как, впрочем, и родного отца, который после развода хотел забрать меня к себе. Я жизни не мыслила без мамы, Тани и деда!

Взрослые в нашей семье трудились с утра до вечера, и мы, дети, были полностью предоставлены сами себе. Естественно, с нами случались разные происшествия, порой довольно опасные.

Однажды я свалилась в колодец с водой для полива огорода. К счастью, он был неглубокий. Меня

вытащил мой крестный, дядя Федя, уже захлебнувшись. Он взял меня за ноги, потряс вниз головой, вода вылилась, и я пришла в себя.

Маленькая я была очень доверчивой. Помню, в праздник Крещения стоял невероятно сильный мороз. Вместе с другими ребятами я пошла в церковь. Окна там были покрыты не просто инеем, а толстой коркой белого снега. Ребятишки мне и говорят:

— Смотри, Паня, это сахар.

Очень хотелось есть. Я поверила. Стала слизывать снег с окна, и язык у меня прилип. Я еле-еле оторвала его от стекла. Но часть кожицы слезла. Несколько дней я ничего не могла взять в рот.

Еще один эпизод. У соседей прогнила соломенная крыша. Решили делать новую, старую солому сняли. Перед домом вырыли яму, наполнили ее глиной с водой, чтобы замачивать новую солому. Но хозяин прихворнул, а молодым было недосуг — так и стояла избенка без крыши. Вода в яме испарилась, глина засохла.

Детвора решила устроить соревнование: кто прыгнет с домика дальше всех и не попадет в глинистую яму. Открывала соревнования я, как самая маленькая, глупая и потому бесстрашная. Подбадриваемая всей компанией, разбежалась и прыгнула. И попала прямо в яму!..

Очнулась на руках все того же дяди Феди, моего всегдашнего спасителя. Он куда-то бежал. Опять потеряла сознание. Смутно помню лицо склоненной надо мной женщины. В деревне ее считали колдуньей. Она смотрела на мою ногу и качала головой. Я тоже попыталась взглянуть. О ужас! Там, где должны были торчать пальцы, на меня почему-то глядела пятка!

Колдунья бормотала непонятные слова, а потом

повернула мою стопу на все сто восемьдесят градусов. Я вновь потеряла сознание.

Пришла в себя дома от резкой боли в ноге. Стопа в суставе была перетянута тряпкой, пропитанной коровьим навозом. Пальцы и пятка были на месте.

Я и теперь с глубокой благодарностью вспоминаю мою колдунью. Если бы не она, я бы осталась калекой. Женщина эта безусловно обладала талантом врачевания. И многое из ее практики пригодилось мне впоследствии.

Во всяком случае, первую хирургическую операцию я провела в четыре года.

ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Была весна, праздновали Пасху. Взрослые ушли в церковь. Дома оставались малыши от четырех до шести лет. Как только проснулись, сразу захотелось есть. В доме пахло куличами. Но то был лишь запах, сами куличи унесли в церковь. Кто-то надумал поджарить семечки от подсолнуха. Так и сделали, каждому досталось по горсти крупных и вкусных семечек.

Неожиданно у одной из девочек, Настеньки, зачесался нос. Она и ковыряла в нем, и била кулачком — ничего не помогало.

— Паня, Паня! — хныкала она, с трудом выговаривая слова. — Семечки насыпь...

Я с удовольствием набила обе половинки ее носика очищенными семечками. Вскоре Настеньке стало трудно дышать. Мы принялись извлекать семечки из носа, но они засели глубоко и как бы спрессовались. Настя заревела. Она редела все громче и громче. Я испугалась, что прибегут соседи и нам здорово влетит.

И тут я увидела хорошо наточенный кривой нож, который лежал возле недоплетенного лаптя. Не раздумывая, схватила его и поднесла к Настиному носу. Настенька вскочила на ноги, бросилась в сторону, стараясь увернуться от острия. Но было поздно. Нож пропахал ей верхнюю губу. Не знаю, почему я это сделала? Наверное, по наитию.

Что тут началось! Оглушительный крик, громкий плач... Однако вместе с кровью и соплями выскочили все до единой семечки. Девочка стала дышать нормально. Правда, губа здорово кровоточила. И тут я вспомнила, как однажды сама себе залепила содранную коленку клеем со ствола вишни. Кто-то из детей немедленно был послан в сад. Как заправский доктор, я сжала края разрезанной губы, склеила вязкой лепешечкой и затянула полотенцем.

Можно сказать, операция прошла успешно. Правда, дня два Настя не могла взять в рот ни крошки... Особенно убивалась она из-за кулича.

В наказание за операцию меня крепко отшлепала мама. Ягодицы мои долго горели.

ГРУСТНЫЕ ПЕСНИ МАМЫ

Мне кажется, моя мать от природы была человеком одаренным, но судьба ей досталась нелегкая, а в чем-то и трагическая... Она окончила всего лишь три класса церковноприходской школы и с восьми лет уже работала. Сначала — на табачных плантациях. В наших местах, особенно на заливных лугах, табак вырастал выше человеческого роста — настоящие джунгли. Случалось, не только дети, но и взрослые, заблудившись в зарослях, теряли сознание от испарений. Потом мама трудилась на торфо-

разработках под Москвой. Служила и в домработницах в Москве. Позже работала на прядильно-ткацкой фабрике.

Она очень хорошо пела. Голос был сильный, низкий, почти такой же, как у Руслановой. Еще в школе один дьячок заметил ее голос и даже научил нотам. Она потом пела в церкви. А после революции выступала в клубах. Мне кажется, она всегда пела. Но песни были все больше грустные. Бывало, все в деревне выходило ее слушать. Наш дом стоял на горе, и голос мамы разносился по всему селу.

Замуж второй раз она так и не вышла... Не захотела, несмотря на прекрасную внешность, ум и твердый характер. Уж очень большая была семья! На ее руках были и собственные дети, и младшие братья и сестры. Она все умела: и ткать, и шить, и вязать... А любила, кажется, только петь свои грустные песни... В ее жизни было немало трагедий. Взять хотя бы эту историю с ребенком-подкидышем.

Когда мама окончательно рассталась с моим отцом, она еще не знала, что беременна третьим ребенком. Перед самыми родами тяжело заболела, десять дней пролежала в беспомощности: то ли это был сыпняк, то ли начиналась родовая горячка. Никто не мог определить, что с ней.

Роды принимала у нее подруга Ольга в своем доме. Как рассказывали, Ольга боялась, что мама не выживет, а если и выживет, то долго не оправится от болезни. Мол, муж бросил, ушел к другой, на руках, помимо своих детей, целое семейство. Куда тут третьему?

Не посоветовавшись ни с кем, Ольга завернула в тряпье новорожденную, еще безымянную девочку, и на попутной подводе отвезла за двадцать километров в районный центр Инжавино, где и подбросила кому-то. А дедушке и дядьям сказала, что

ребенок родился мертвым и она сама его похоронила.

Придя в сознание и узнав, что ребенок умер, мама впала в тяжелую депрессию. Семь лет Ольга молчала — боялась. А потом все-таки покаялась в своем грехе. Долгие годы мама разыскивала свою дочь, но так и не нашла. С нами, детьми, своим горем не делилась.

После революции жизнь ее стала налаживаться. Сначала она занялась общественной работой. Потом стала председателем исполкома в одном из районов Тамбовской области. В это время в стране шла коллективизация, началось раскулачивание.

Однажды в деревне собирали колхозные семена для посева. Председателя колхоза на месте не было, куда-то уехал. Ключ от склада с семенами дали на время матери. Крестьяне узнали, у кого ключ, решили отобрать и проникнуть на склад. Миром не получилось. Тогда кто-то из зажиточных выстрелил в маму из охотничьего ружья... У нее так и остался шрам над бровью, куда попала дробинка. А потом... Захватили в заложницы Таню и стали у всех на виду зверски избивать...

Этот день стал последним днем работы мамы в должности председателя райисполкома.

Мать поехала в Тамбов, сказала, что не хочет быть председателем.

— Мало того, что на меня покушение уже было. Не согласна я отбирать у хороших хозяев их добро!!

— Ты что, с ума сошла? — закричал один из начальников. — Ты коммунистка! Должна делать то, что велит партия.

Но через некоторое время все-таки ее освободили от должности. Она очень хотела заниматься пчеловодством. Край наш был цветущим, пчелиным. А в деревне стояло всего два улья. Все-таки мама на-

стояла на своем, ее перевели в Воронеж, где она и стала заниматься пчеловодством. Она всему училась сама, но многие специалисты удивлялись широте ее познаний. Воронежский мед был необыкновенно полезным и вкусным, особенно славился гречишный. Его продавали за границу, да и платили, как следует.

ДЕТСКИЙ ДОМ И ПОКРОВИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ

Мне исполнилось десять лет, когда закончилось мое детство. Нищее, полуголодное, но все-таки счастливое.

В Паревке я окончила три класса. Надо было учиться дальше. Работа мамы теперь была связана с разъездами по области. Пока было возможно, старшая сестренка Таня была при ней. Но примерно с седьмого класса Таню определили в детский дом. Было решено отправить туда и меня, младшую.

Помню, что привезли меня в Кирсановский детский дом почему-то зимой. На мне был вязаный платок, шуба не по росту и старые большие валенки. Кирсанов после нашей деревни показался мне большим городом: двухэтажные дома, церкви, каменная ограда бывшего монастыря... Возле его ворот лошади и остановились. В здании монастыря размещался теперь детский дом.

Первым делом я стала искать сестру Таню. Нашла не сразу. В поисках попала в какое-то большое помещение, где было много детей. Кто-то из них крикнул:

— Ребята, новенькая!

И сразу по чьей-то команде дети выстроились в два ряда, образуя живой коридор. Мне было велено идти по этому коридору. Едва я сделала шаг, как на

мою голову, спину, руки посыпались удары. Было не столько больно, сколько обидно: за что? Я с трудом вырвалась из окружения.

У одной из колонн, скрестив на груди руки, стоял парень и смотрел на меня как будто с сочувствием. От безысходности я бросилась к нему, прижалась к широкой груди, ища защиты и утешения. А потом расплакалась. Он успокаивающе погладил меня по голове.

Позже я узнала, что этот парень был вожакom детдомовцев. И именно по его велению устроили мне экзекуцию. Было ему лет пятнадцать. Одна половина его лица была нормальной, другая представляла жуткое зрелище: вместо глаза и щеки — сплошной шрам. Спасителя моего звали Василий Кашковский. Ни отца, ни матери у него не было, до детского дома он беспризорничал. Несмотря на разницу в возрасте, мы оказались с ним в одном классе и даже сидели за одной партой. Наверное, это выглядело забавно: высокий детина и рядом — худенькая маленькая девочка. Кашковский был грозой детдома. Но ко мне относился очень внимательно, как к младшей сестренке, и никому не давал в обиду. Все диву давались: что это с ним произошло? Может быть, я была первым человеком, кто обратился к нему за помощью, попросил защиты?

Через много лет, уже после войны, я получила письмо от бывшей детдомовки Вари Сидоровой. Она сообщала, что Василий Кашковский погиб на фронте и что посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Я не могла представить, как человек с одним глазом попал в армию, а потом на фронт... Скорее всего, он был партизаном. К сожалению, никаких подробностей я не узнала. На мое письмо Варя не ответила. А через какое-то вре-

мя я узнала, что она умерла от фронтовых ранений.

Еще одно воспоминание о детском доме: именно здесь я впервые увидела и услышала рояль. Играл мой одноклассник Саша Абросимов, сын школьной уборщицы. Как и Василий, он был старше меня лет на пять. Как выяснилось, никто не учил его игре на фортепиано. Мелодии он подбирал по слуху и даже сам сочинял музыку. Талант, видимо, был дан ему Богом.

Я слушала игру Саши и буквально заболела музыкой. Мне очень хотелось научиться играть. Но к роялю меня не подпускала Сашина мама. Тогда воспитательница сжалилась надо мной и принесла детдомовскую гитару, которая пылилась где-то без надобности. Сколько было радости! Я стала подбирать на гитаре ту музыку, которую играл Саша на рояле. Через два года я уже играла вполне прилично.

ТЕХНИКУМ, ГОЛОД И МОНАШКА ФЕНЯ

Семь классов я окончила в 1930-м. Но дальше учиться не могла. В стране начался голод. Детдом не мог прокормить всех детей, и старшие классы распускали. Мне пришлось возвратиться к бабушке в деревню. В Паревке тоже голодали. Появились первые детские гробики. Взрослые в поисках пропитания разбредались кто куда. Те, кто остался в деревне, пухли от голода. Сестра Таня ходила с бабушкой просить милостыню в районный центр и дальние деревни. Этими подаваниями мы и кормились кое-как. Потом сестра, окончив девятилетку, уехала в Москву и даже поступила в медицинский институт.

Как-то заехала к нам мама и привезла газету, в которой было напечатано объявление, что Воронеж-

ский медицинский техникум объявляет прием студентов. Я решила попытаться счастья. Родные горячо поддержали меня.

Как известно, бедному одеться — только подпоясаться. Я сложила в корзину свои пожитки, обернула гитару холстиной, перевязала веревкой и, повесив ее на плечо, отправилась за своей жар-птицей.

Первый раз в жизни я ехала в поезде. Вот и Воронеж. С большим трудом разыскала медтехникум. Но, к моему ужасу, здание было на замке, а на двери висело объявление: техникум переведен в город Усмани. А это в шестидесяти километрах от Воронежа. Видно, голод вынудил техникум, как и другие учебные заведения, переместиться поближе к земле-кормилице.

Стоял сентябрь, сырой и унылый. Я побрела обратно на вокзал, села на какой-то попутный товарный поезд. На мое счастье, он сделал остановку в Усмани. На платформе я огляделась в недоумении: где же город? Передо мной стояло лишь невзрачное облупленное здание вокзала.

Оказалось, что до города шесть километров. О транспорте нечего было и мечтать. «Хорошо, что еще светло», — подумала я. И потопала по раскисшему чернозему... В той газете было написано, что воспитанники из детских домов, окончившие семилетку, принимаются в техникум без экзаменов. Это придавало мне уверенности. Наконец, добралась до цели. Решительно вошла в здание техникума. Узнав, где кабинет директора, направилась туда. Студенты расступались, давая мне дорогу и с удивлением разглядывая. Только потом я поняла, какое зрелище из себя представляла: по колено в грязи, в детдомовской одежде, в немыслимо больших ботинках, с деревенской корзинкой в руках и гитарой за плечами!..

Едва выслушав меня, директор заявил, что я опоздала и мест в общежитии нет, прием закончен, а посему я могу отправляться туда, откуда приехала. Я растерянно спросила:

— Куда же мне, детдомовской, идти?

— Ничем не могу помочь. — Директор развел пухленькими ручками.

Не зная, что делать дальше, я села у входа в техникум. Слезы застилали глаза. Подошли три девушки, стали расспрашивать, утешать. Даже позвали переночевать у них: они снимали комнату у раскулаченной семьи. Я сначала обрадовалась, но, вспомнив, что платить нечем, стала отказываться. Они настаивали: «Переночуешь сегодня, а там видно будет».

Хозяйка дома оказалась доброй женщиной: дала мне теплой воды для мытья и накормила вкусной похлебкой. Я повеселела. Девочки попросили сыграть на гитаре. Мы даже спели что-то вместе. Видимо, я пришлась по душе новым знакомым. Все вместе стали обсуждать мое положение — как ни крути, оно было безнадежным: без денег жилья не найти, а значит, прощай, техникум.

Неожиданно в комнату заглянула молодая монашка. Звали ее Феней, она тоже снимала здесь комнату. Услышав мои сетования, сказала:

— Будешь жить у меня. Комнатка, правда, маленькая, и спать тебе придется на полу. Однако платить не надо, вместо этого ты поможешь мне выполнять работу для церкви.

— Спасибо, спасибо, — не чуя себя от радости, проговорила я.

Так я стала жить у монашки Фени. Феня занималась вышивкой риз и других одежд для служителей церкви. Я должна была помогать ей. Сначала делала настил под узор, но со временем мне была

доверена и основная работа — искуснейшая вышивка. С тех пор я полюбила искусство вышивания и сделалась настоящей мастерицей: пальто младшей дочери, вышитое моими руками, произвело фурор даже в Польше. Дружба с монашкой Феней продолжалась долгие годы. Именно благодаря ей я была зачислена в медицинский техникум.

Через много лет случилось так, что и я оказала помощь монахине. Это была не моя добрая Феня, совсем другая женщина, но чем-то похожая на нее. Но об этом позже.

В техникуме мне нравилось буквально все — с детским домом не сравнить. Казалось, что со всех сторон тебя окружают добрые, хорошие люди. Со второго курса я стала отличницей. Авторитета мне прибавляла и игра на гитаре. Окрыленная успехами, решила вступить в комсомол. До сих пор встает в памяти это собрание. Меня представили, зачитали характеристику, началось обсуждение. Я не сомневалась, что все поднимут руки «за» — и я стану комсомолкой.

Но неожиданно слово взял сын директора, такой же толстяк, как отец:

— Мы не имеем права принимать Татаринову в комсомол, — заявил он решительно. — Она связана с духовенством.

И пошло-поехало. «Господи, — пронеслось в моей бедной головушке, — я и забыла, что снимаю угол у монашки и оплачиваю его собственным трудом! И это можно назвать связью с духовенством? Какая дикость! Что они, с ума посходили?»

Однако все мои друзья единогласно подняли руки «против». Я была потрясена. Но духом не пала, привыкла к трудностям. Решила учиться еще лучше.

А голод продолжал свирепствовать. Закрылась студенческая столовая. Хлебом, который получала в церкви, подкармливала меня Феня. Изредка присылала посылки мама. Этого, конечно, не хватало. Вместе с другими ходила в поле копать картошку, которая кое-где оставалась в земле.

Помню, стояла уже глубокая осень с первыми заморозками. Мы копали на поле, к которому вплотную подходил темный лес. Вдруг оттуда вышло несколько кабанов. Видимо, они тоже пробавлялись мерзлой картошкой. Встреча с дикими животными не предвещала ничего хорошего. Мы сначала оцепенели, а потом бросились наутек. У меня соскочил ботинок и застрял в грязи. Я с трудом вытащила его и в одном ботинке бежала весь оставшийся путь.

Когда после марафонского бега мы остановились и поглядели друг на друга, на нас напал неудержимый хохот. Еще бы! Без картошки и лопат, забрызганные грязью... К тому же я — в одном ботинке! Хохотали мы долго. И куда только девался недавний страх?

Однако нога моя окоченела, и мы решили попроситься в первый попавшийся дом, чтобы подсушить злосчастный ботинок и согреться. На наш стук дверь мгновенно отворилась, и мы увидели мужчину средних лет и женщину с девочкой. Они радушно пустили нас в дом. Гостеприимные люди оказались педагогами, их дочь Инна училась в девятом классе. Нас накормили пшенной кашей, отогрели. Ко мне, очень худой, да еще одетой хуже других, отнеслись с особым вниманием. На прощание даже дали немного картошки и хлеба.

Через несколько дней девочку Инну я встретила у ворот техникума: она принесла мне еды и пригласила в гости. С тех пор я часто заходила в этот дом,

стала для них как бы членом семьи. Да и потом не теряла связи с этими душевными людьми.

В 33-м я окончила техникум, получила диплом с отличием и звание фельдшера-акушерки. Распределения ждала спокойно, мне было все равно, где работать. Каково же было мое удивление, когда директор с важным видом зачитал решение ученого совета техникума о направлении меня на учебу в Воронежский медицинский институт.

Я не верила своим ушам: меня — в институт?! Об этом я и мечтать не могла! Не помня себя от счастья, выскочила из директорского кабинета прямо в толпу однокурсников, стоявших у дверей, и выпалила свою новость. Кто-то меня поздравлял и целовал, кто-то остался равнодушен. Но даже среди друзей немало было таких, что смотрели на меня враждебно, не скрывая зависти.

Я УЧУСЬ В МЕДИЦИНСКОМ

Наконец-то в моей жизни наступила полоса везения! Я стала студенткой лечебного факультета Воронежского медицинского института. Кроме того, мы поселились вместе с мамой, которую перевели из Тамбовской области в Воронеж на должность заместителя облколхозсоюза и одновременно избрали членом обкома партии. Не пришлось мне и ютиться по чужим углам. Нам с мамой предоставили две комнаты в коммунальной квартире одноэтажного дома по Больничному переулку, в пяти минутах ходьбы от моего института. Я начала нормально питаться, хотя голод в Воронеже продолжался.

К началу учебного года мама сшила мне ситцевое платье и купила туфли — я чувствовала себя королевой. В институте меня ждал приятный сюрп-

риз: я встретила Инну Складневу, ту самую, с семьей которой познакомилась в Усмани. К тому же мы оказались в одной группе. Дружба наша длилась всю жизнь.

Учеба давалась нам легко: Инне — потому, что она была начитанной и образованной. Мне — потому, что окончила медицинский техникум и обладала первоначальными знаниями. Особенно мне нравилась хирургия. Как сейчас, помню первые главы учебника: «Хирургия — от греческого слова «cheirurgia» (cheir — рука и ergon — работа)». Помню, при запоминании этого места я всегда сжимала руку в кулачок, словно пробуя ее силу. Потом читала дальше: «Хирургия — отрасль медицины и ветеринарии, изучающая заболевания, основным методом лечения которых — операции: кровавые, то есть связанные с рассечением и иссечением тканей, и бескровные — вправление вывиха, катетеризация и пр. Наряду с терапией и акушерством хирургия — древнейшая медицинская специальность. Основоположником научной хирургии был французский хирург А. Паре, живший в XVI веке...»

Тогда я еще не знала, что судьба приведет меня во Францию и моими друзьями станут французские хирурги.

Сейчас же, в начале 30-х, я продолжала «грызть гранит науки», упорно и сосредоточенно. И вдруг... Через полгода после начала занятий пришел приказ Наркомата здравоохранения, обязывающий тех, кто поступил в институт без экзаменов по путевке, сдать их на общих основаниях. Полная неожиданность! А таких, как я, на разных факультетах было не менее пятидесяти человек. Пришлось учиться и одновременно сдавать вступительные экзамены. Человек сорок сразу отсеялось. Я провалилась на последнем экзамене, по физике, и должна была покинуть ин-

ститут, несмотря на то что училась хорошо. Отчаяние овладело мной. Но правильно говорят мудрые люди: умеряй радость и не теряй голову в беде, ибо и счастья не досыта и горя не до смерти. На следующий день меня вызвали в деканат. Вместе с директором за столом сидел профессор, который и вкатил мне «неуд» по физике.

— Вы, Татаринова, родились, наверное, под счастливой звездой, — произнес директор внушительно. — Мы решили не исключать вас из института, а назначить через два месяца переэкзаменовку по физике. Наш уважаемый профессор выказал готовность позаниматься с вами индивидуально. И, разумеется, бесплатно.

Я пересдала проклятую физику и осталась в медицинском. Мало того, после повторного поступления вдруг поверила в себя. Из незаметной робкой девчушки превратилась в уверенную целеустремленную студентку, к тому же красивую девушку. Серьезно занялась спортом, стала отличной гимнасткой. Помню, меня даже премировали редким по тем временам подарком: велосипедом «Украина».

Училась я водить и мотоцикл, который брала напрокат у Сергея, мужа своей сестры. До сих пор помню, как чуть не разбилась из-за собственной лихости. Не дослушав инструкции, уселась на мотоцикл, включила максимальную скорость и рванула вперед. Как снизить скорость, а тем более остановить ревущего подо мной зверя, я не знала. Решила направить машину в безлюдное место, но для этого нужно было проехать по оживленному проспекту Революции. Прохожие шарахались, ругали меня последними словами, но я продолжала мчаться как оголтелая. Наконец, очутилась за городом и понеслась по пересеченной местности. К счастью, судьба берегла меня. Мотоцикл стал замедлять ход, на ка-

кой-то кочке подскочил и свалился на бок, крутя колесами и фыркая, как живое существо. Здесь меня и настиг Сергей, который мчался вслед за мной на велосипеде. Увидев, что я цела и невредима, он даже ругать меня не стал. Мы вместе посмеялись над моим приключением.

ЖИЛИЩЕ МЕРТВЕЦОВ И УНИКАЛЬНАЯ УДАВКА

Строение человеческого тела, как и положено, мы изучали на трупах в анатомикуме — одноэтажном деревянном строении, расположенном неподалеку от института. Мы называли его жилищем мертвецов. Помню первое занятие: острый запах тлена, смешанный с известью и карболкой. Вдоль длинной комнаты стоял ряд столов с трупами. Один из трупов был с отпрепарированными мышцами и вскрытым черепом. Нас встретил преподаватель-анатом Виктор Иванович Савинов, торжественно поздравил с новым учебным годом и приступил к делу. Как и многие студенты, я долго не могла привыкнуть к самому виду анатомического театра, наполненного бездыханными телами с мутными глазами, оскаленными зубами, скрюченными пальцами. Некоторые студенты тайно признавались, что после занятий в анатомичке их преследовали галлюцинации: казалось, что из всех углов комнаты к ним ползут окровавленные руки, ноги и головы. Что касается меня, кажется, что я сама стала похожа на мертвеца, когда в анатомичке первый раз наблюдала вскрытие.

Мой сокурсник подвел меня к открытому окну. Я подышала глубоко несколько минут и вернулась к остальным: не хотела показывать, что мне сделалось дурно от вида мертвого тела.

Но с тех пор лет десять я не могла притронуться к мясу. Сам вид его вызывал у меня тошноту. Могла есть все что угодно, только не мясо. На меня смотрели с подозрением — вегетарианство тогда было не в моде.

Но преподавателя нашего мы очень любили. Казалось бы, род занятий мог сделать его бесчувственным, циничным. Однако он не допускал грубого обращения даже с безжизненными телами, которые без конца мелькали перед его глазами. Не было у него и плохих учеников. Видимо, кому-то из начальства казалось это подозрительным. Мы знали, что на ученом совете неоднократно поднимался вопрос о методике преподавания Савинова: действительно ли все студенты хорошо разбираются в анатомии человека, в сложной взаимосвязи его внутренних органов, держат в памяти сотни латинских названий, терминов?

После таких заседаний Виктор Иванович становился мрачным. Затем, как бы проверяя себя, устраивал нам нечто вроде экзамена, был требователен и придиричив. Но, убедившись в наших знаниях, опять обретал спокойствие духа, и все шло по-прежнему.

К слову сказать, Виктор Иванович дважды пытался защитить докторскую диссертацию, но неудачно. В обоих случаях на его пути вставал некий человек из центра. Причем второй раз этот человек, ставший доктором медицинских наук, зарубил диссертацию Савинова, временно работая в нашем институте на должности заведующего кафедрой нормальной анатомии.

На следующий день после злополучного ученого совета мы, как всегда, группой шли в анатомикум на занятия. Помню, по дороге нас обогнали повозки с умершими от голода людьми. И вдруг кто-то сказал:

— Ребята, там живой человек!

Мы бросились вдогонку, остановили обоз. Действительно, один человек шевелился и как будто подавал признаки жизни. Мы вытащили его из-под груды тел: это был пожилой мужчина. На руках отнесли его в терапевтическую клинику, благо она находилась недалеко.

На занятия мы, разумеется, опоздали, но были уверены, что Савинов нас простит. Правда, подивились, что дверь в анатомичку оказалась закрытой. На наш стук никто не ответил. Но студенты есть студенты... С радостным криком «свобода!» все разбежались.

Днем в институте поднялась суматоха. В деканате собрались преподаватели, все были встревожены и подавлены. Вскоре разнеслась ужасная весть: Виктор Иванович найден в анатомикуме мертвым — он повесился. Самое удивительное и мрачное заключалось в том, что удавка, с помощью которой он свел счеты с жизнью, была особенной, лично им изобретенной. Он связал веревку какими-то хитрыми узлами: когда веревка затягивалась, узлы уже не отпускали. Это было последнее изобретение Виктора Ивановича — уникальная удавка, единственная во всем мире... Спустя время она была помещена в музей криминалистики.

Хоронил Виктора Ивановича весь Воронеж. Пришли студенты и преподаватели всех учебных заведений. Не пришел на похороны только один человек: временно исполняющий обязанности заведующего кафедрой нормальной анатомии.

На следующий день по расписанию у нас была его лекция. Мы решили ее сорвать. Как только этот человек (фамилии его я называть не хочу) появился в аудитории, я подошла и тихо сказала:

— Вы убили Виктора Ивановича... Мы вам этого не простим.

Студенты поддержали меня и толпой ринулись к выходу. Но на улице наш пыл охладел, стали думать, что делать дальше. Часть студентов откололась, осудила подобный демарш и лично меня. Но большинство решило не отступить. Мы отправились в деканат и заявили, что не хотим и не будем учиться у этого профессора. Как оказалось, в стенах института не желали его видеть и многие преподаватели... Вскоре профессор медицины покинул Воронеж.

Прошло много лет. Я встретила его уже в Москве, он стал академиком. Я работала хирургом Кремлевской больницы, он оказался моим пациентом. Конечно, мы узнали друг друга, но не подали вида. При выписке он сказал:

— Спасибо, Прасковья Николаевна. — Потом помолчал и добавил: — Мы уже не те, что были раньше. Во всяком случае, меньше делаем ошибок...

Не знаю, что он имел в виду, но фраза эта прозвучала как раскаяние. Я же потом долго размышляла о пользе и вреде максимализма.

СТУДЕНЧЕСКИЙ РОМАН

— Хочешь, я познакомлю тебя с одним человеком? — спросила однажды подруга Инна, залившись почему-то краской.

Потом рассказала мне о знакомстве с неким студентом, к тому же сыном профессора-хирурга. Лев — так звали ее нового друга — учился в нашем институте. Было видно, что он небезразличен Инне, и она хотела знать мнение подруги.

Но случилось непредвиденное. Как только она представила нас друг другу, стало ясно, что «третьей лишней» оказалась именно Инна. Я не ожида-

ла такого поворота, но что поделаешь!.. Именно так раскручивалась нить моей судьбы.

Инна поступила мудро и не предала нашей дружбы.

— Это судьба, — сказала она. — И потом: все, что ни делается, — все к лучшему.

Роман же мой слевой развивался бурно. Я была серьезно увлечена своим избранником — образованным, прекрасно воспитанным юношей. Часто бывала у него дома, где всегда натыкалась взглядом на портрет красивой молодой женщины — матери Левы, которая умерла, когда он был ребенком. Так что жизнь не баловала профессорского сына, хотя отец безумно его любил, целиком был занят его воспитанием и образованием и даже не помышлял о вторичном браке. Конечно, мы были разными. Лева прекрасно разбирался в литературе, дома была большая библиотека. Я же к тому времени не прочитала даже Джека Лондона. Но охотно наверстывала упущенное. Кажется, я нравилась и отцу моего избранника. И все бы хорошо, если бы не мама...

— Не пара он тебе, дочка, — без конца твердила она, — не пара. Ты — из крестьян, он — сын профессора. Не будет у вас счастья. Он из другой среды, слишком хорош для тебя. Если выйдешь за него замуж, всю жизнь будешь чувствовать себя униженной. Да еще в один прекрасный день бросит тебя! Найдет другую, получше. Какую-нибудь профессорскую дочку.

Но я была влюблена и, как водится, не желала слушать никаких возражений.

И вот однажды, гуляя слевой вдоль реки Вороны, мы увидели на склоне горы домик-развалюху, в окне которого горел слабый огонек.

— Если не пойдешь за меня замуж, тебя ждет

такая же судьба. Будешь жить в развалюхе, — сказал мой возлюбленный в шутку.

Не знаю, что случилось со мной, но я вспыхнула, потом побледнела от обиды. А в ушах почему-то отчетливо зазвучали все мамины слова. Сейчас я понимаю, что была дитем своего времени, образцовой советской девушкой. А в те времена стыдились не бедности, а, напротив, богатства.

Больше слевой мы не встречались. Не раз обнаруживала я на подоконнике в своей комнате букет роз. Но шага к примирению почему-то не делала.

Последняя наша встреча была трагичной. В Москве, в 43-м, переходя Манежную площадь, я увидела колонну арестантов. То были не пленные немцы, а наши солдаты и офицеры, сопровождаемые грозными охранниками. Видимо, их гнали в лагерь. Вдруг из колонны кто-то крикнул: «Паня!» Худой обросший человек стал пробираться ко мне. Я с трудом узнала Леву. Конвоиры преградили ему путь...

Прошли годы... Как-то в нашей квартире раздался телефонный звонок. Муж взял трубку и, сказав что-то резкое, быстро ее повесил. Только потом я узнала, что звонил он, Лева. Но муж не подозвал меня к телефону...

НОЖ ПОД ПОДУШКОЙ И ВЗРЫВ ВМЕСТО ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА

...Эту историю я слышала от мамы и запомнила ее на всю жизнь. Описываю так, как рассказывала она тогда, в 37-м ...

Шло заседание Воронежского обкома партии. Вел его секретарь обкома Варейкис. Мама присутство-

вала на заседании и все видела своими глазами. Обсуждались планы на будущее, текущие дела и прочее. Но настроение у людей было подавленное. В городе шли повальные аресты, причем забирали все больше людей известных. Недавно арестовали председателя облколхозсоюза. За что? Почему? Никто не мог понять. Никто не был уверен, что и с ним не случится подобное.

Неожиданно с улицы донесся скрип тормозов: у здания обкома остановилась черная легковая машина. Из нее вышли два человека. Через несколько минут они появились в дверях, приблизились к Варейкису и без всяких объяснений приказали следовать за ними. Сидящие в зале недоумевали: что мог совершить этот преданный партии человек, талантливый руководитель? При нем в Воронеже и области были построены заводы, фабрики, аэродром и многое другое. Для всех было загадкой: в чем его вина?

Видимо, после ареста Варейкиса мама ждала своей очереди. Как-то, перестилая постель, я нашла под ее подушкой нож. На мой недоуменный вопрос она ответила:

— Живой я им не дамся.

Занятия не шли мне в голову, я стала нервной и рассеянной: все думала о маме и об этом ноже под подушкой. После одной из лекций по психиатрии меня подозвал профессор.

— Татарина, вы совершенно не слушали лекцию. Я наблюдал за вами. У вас отсутствующий вид. Чем вы так встревожены?

Не знаю почему, но я вдруг разрыдалась. Потом рассказала профессору-психиатру о маме, о ноже под подушкой, о моих страхах...

На следующий день к нашему дому подошла машина. Маму увезли в психиатрическую больницу.

Она вернулась домой через два месяца, когда волна повальных арестов немного схлынула.

А еще через год я окончила институт... Экзамены остались позади, готовился грандиозный выпускной вечер, который решено было устроить в здании анатомикума. Не в том убогом и старом, где повесился доктор Савинов, а в новом — построенном по последнему слову техники, с прекрасными лабораториями, холодильными установками, большими аудиториями и залами.

В одном из этих залов и готовилось торжество. Все ответственные работники Воронежа были приглашены на этот вечер. Мне же поручили привезти цветы из сельскохозяйственного института. По такому торжественному случаю предоставили даже лошадь с телегой.

Стояло лето. И день выдался жаркий. Помню, я собирала цветы, срезала розы, которые были особенно хороши... Настроение у меня было самое радужное. Кажется, сама душа моя пела, когда с благоухающим букетом я возвращалась в институт. Но когда подъехала к анатомикуму, в ужасе застыла: здание горело! Языки пламени вырывались из окон верхнего этажа, где находился тот самый зал, в котором должен был проходить наш выпускной вечер.

Уже позже выяснилось, что причиной пожара стал взрыв. Взрывное устройство якобы обнаружили на потолке, прямо над сценой, где обычно сидит президиум. Оно должно было сработать точно в момент открытия выпускного вечера. Но, видимо, от жары взрыв произошел раньше. Занятий со студентами уже не проводилось, поэтому, к счастью, никто из людей не пострадал.

— Это диверсия, — объясняли нам преподаватели. — Ведь, кроме всего прочего, перерезали телефонные провода, да и водопровод привели в негодность.

Мы верили. Наш выпускной вечер так и не состоялся.

После получения диплома врача мне предложили остаться на кафедре патологической анатомии. Но я отказалась, так как с первого курса не переносила трупного запаха. Помню, я просилась на Памир, а получила направление в город Задонск Воронежской области. Однако и там мне работать не довелось: я заболела острым ревматизмом и вместе с мамой уехала на лечение в Сочи. Там я познакомилась со своим будущим мужем и буквально через несколько месяцев переселилась в Москву.

ВОЙНА. ФРОНТОВОЙ ГОСПИТАЛЬ

МОЙ МУЖ — СОТРУДНИК НКВД

Когда Вячеслав Мошенцев приехал за мной в Воронеж, он сразу предложил мне руку и сердце и повез в Москву. Но поселились мы сначала в Подмосковье, в поселке Перловка. А брак зарегистрировали в Мытищах. Помню, мы долго стояли в очереди. На одном конце стола регистрировали вступление в брак, на другом — факт смерти. Никакой свадьбы у нас, конечно, не было. Но нам дали одиннадцатиметровую комнату в коммунальной квартире двухэтажного деревянного дома. Дом принадлежал Мытищинскому вагоноремонтному заводу, где по возвращении с флотской службы мой муж работал инженером. В этой маленькой комнатке мы и жили. Потом к нам переехали мать и отец Вячеслава. Стали жить вчетвером. Я забеременела и в 40-м году родила дочь Людмилу. Первое время была занята малышкой. Но когда ребенку исполнилось полгодика, решила устроиться на работу. Пошла со своим дипломом в Министерство здравоохранения. Объяснила, что хочу работать. В дипломе было указано, что одна из моих специальностей — акушер-гинеколог. Техникум-то я окончила акушерский. И практика у меня уже была. Когда училась, подрабатывала немного в больнице. Мне предложили работать в поликлинике Киевского района, на Потылихе. Так что моя первая работа — гинеколог в женской консультации. Я лечила не только москвичек, но и женщин-заклученных,

которые отбывали срок на вредных предприятиях: химическом и эфиромасличном заводах. Нередко в очень трудных условиях приходилось оказывать экстренную помощь, даже принимать роды. Положить в больницу заключенную было не так просто. И мне одной приходилось лечить этих женщин, иногда довольно длительное время.

В это время мужа уже перевели в Наркомат путей сообщения на должность заместителя начальника отдела. А через несколько месяцев мобилизовали в органы НКВД. Перевели приказным порядком. Он даже со мной этот вопрос не обсуждал. Я была, конечно, очень расстроена. И он был не очень доволен. Может, он и не согласился бы на эту работу, если бы... Дело в том, что его брат после революции был чекистом. Его расстреляли белые. Он похоронен как герой революции. На берегу Волги, в Симбирске, до сих пор лежит надгробная плита с его именем и горит вечный огонь. Думаю, муж согласился пойти на службу в НКВД в память о своем брате.

Он стал начальником Ленинского райотдела НКВД. Ездить из Перловки на работу было неудобно. Тогда-то нам и выделили квартиру в Москве, в Лаврушинском переулке, в доме №17. Учреждение мужа находилось на Большой Полянке, в нескольких минутах ходьбы от Лаврушинского. Мы переехали в 39-м году...

А потом началась война.

В МОСКВУ! В МОСКВУ!

В августе 1941 года с сестрой Татьяной и малыми детьми на руках мы эвакуировались в Чебоксары. Сестра к тому же вот-вот должна была родить.

Из Воронежа в Чебоксары приехала и мама. Она уехала из города последним поездом, буквально накануне его оккупации. В дороге чуть не погибла: поезд бомбили, были раненые и убитые. В Чебоксарах нам дали маленькую комнатку. У сестры родился сын.

На фронтах шли тяжелые бои. То одна, то другая семья получала известие о гибели родных и близких. Горе пришло и в наш дом: погиб муж моей сестры, Сергей. Тот самый, что еще совсем недавно лихо мчался на велосипеде, догоняя мой мотоцикл... Он был тяжело ранен под Калинином, городом своего детства. И умирая от ран, написал прощальное письмо, в котором завещал мне и мужу не оставить в беде жену и детей. Так что в нашем семействе прибыло...

Но в эвакуации я оставаться не могла. Какая-то сила словно подталкивала меня и гнала в дорогу. К тому же я полагала, что мне, врачу, здоровой молодой женщине, не место в тылу. И вот в январе 42-го я выехала в Москву. Дочку оставила в детском саду-интернате, под присмотром мамы и сестры.

До Москвы добиралась нелегально: пропуска на въезд в Москву у меня не было. Выручали попутчики военные. Каждый раз при проверке документов они прикрывали меня шинелями. На вокзале меня встретил муж, сразу сообщив, что в ближайшее время отправляется на фронт. Пока же в его обязанности входила охрана Кремля, эвакуация промышленных предприятий района, порядок на улицах и прочая.

Помню, как бомбили Москву. Однажды бомба попала в здание на Большой Полянке, где работал муж. Погибли почти все сотрудники, а он чудом остался жив.

Частично был разрушен и наш дом в Лаврушинском. Литераторы тогда шутили: мол, если бомба попадет в писательский дом, от советской литературы ничего не останется. Все-таки две бомбы попали... Но литература не погибла. Жильцов в это время практически не осталось: дом не отапливался и писатели переселились, кто куда... Бомба повредила и нашу квартиру. Но мы с мужем уже были на казарменном положении и жили в своих учреждениях.

Немцы все ближе подходили к Москве. Муж одним из первых стал организовывать партизанское движение в Подмосковье, а потом добровольно ушел на фронт. Забегая вперед, скажу, что был он дважды контужен. Но домой вернулся. Случилось это в День Победы.

Я же устроилась на службу во фронтовой госпиталь, где и стала настоящим хирургом.

ГОСПИТАЛЬ В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ

Госпиталь устроили в здании школы, что располагалась на территории знаменитого Парка культуры и отдыха имени Горького.

...Зима 41-го была очень холодной — замерзал даже пар изо рта. Москва будто вымерла, увидеть можно было лишь колонны военных да группы мужчин и женщин с ломами — в городе строились противотанковые заграждения.

Ожесточенные бои шли уже на подступах к столице. Госпитали были переполнены. Санитары едва успевали выгружать раненых. Медицинских кадров не хватало. Недоставало медикаментов и перевязочного материала.

Теперешнему поколению война знакома по филь-

мам да художественной литературе. В реальности же все было гораздо непригляднее, страшнее, грубее: бесконечные стоны и бред раненых, устоявшийся тяжкий запах в палатах!

В госпитале я сразу стала работать в хирургическом отделении, которым заведовала Махотина. До сих пор помню эту замечательную женщину — прекрасного хирурга-травматолога и к тому же доброго, уравновешенного человека. Я многому у нее научилась, усвоила и основные заповеди. Прежде всего врач не должен нагонять страх на больного, как это любят делать некоторые. Больной должен верить своему врачу. Если не верит, лучше не бери его на операцию. Возьмешь — в лучшем случае у него будут осложнения, а в худшем — может случиться непоправимое. Сострадание, сочувствие способствуют выздоровлению наравне с лекарствами — я это усвоила твердо. Особенно если шла речь о раненых, которых порой спасали ласковое слово, улыбка, внимание.

Во фронтовом госпитале я делала первые шаги в хирургии и травматологии, упорно овладевала и методикой, и практикой. Дни и ночи проводила у операционного стола, иногда с открытым учебником. И через два месяца уже могла оперировать самостоятельно.

После операций часто приходилось накладывать гипс на ноги или на руки. Процедура эта, да и сами гипсовые повязки были чрезвычайно тяжелыми и неудобными. К тому же из-за неумелого наложения и плохого качества гипса повязки ломались, причиняя страдания раненым. Я решила во что бы то ни стало научиться делать эту процедуру более искусно. В течение месяца в свободное от работы время бегала в клинику 2-го Медицинского института, благо она была рядом с госпиталем, на выучку к

знаменитому травматологу профессору Бому. Его гипсовые повязки были легкие, изящные, хорошо отмоделированные. Он посвятил меня в секреты гипсовой техники, и в дальнейшем, где бы я ни работала, мои повязки признавались лучшими.

В наш госпиталь поступало много военнослужащих, ранения которых были осложнены газовой гангреной и столбняком. Чтобы спасти этих несчастных, приходилось делать обширные разрезы тканей для доступа кислорода, а нередко и удалять конечности. Ампутация... Я содрогалась при таком приговоре. В коротких снах на меня надвигались, полные ужаса и мольбы, глаза моих приговоренных. К тому же в госпитале постоянно не хватало донорской крови. Мы, медики, сами становились донорами. И сейчас помню юного партизана, почти мальчика, которому я отдала свою кровь. Он умирал от кровотечения. Переливание было прямое. Медсестры, видимо, что-то не рассчитали, и я потеряла сознание. Когда очнулась, увидела, что партизан мой буквально воскрес, опасность для жизни миновала. Я обрадовалась несказанно. А обморок... Что ж, сознание можно потерять и от работы: хирурги стояли у операционного стола по десять—двенадцать часов в сутки.

МАЙОР МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ И ЕГО КОЛЛЕГИ

Прошло полгода с начала моей работы в госпитале. И в один прекрасный день к нам явилась комиссия из Управления госпиталями во главе с наркомом здравоохранения. На заседание комиссии пригласили врачей-хирургов. Начальник госпиталя Лукомский доложил об успехах и о трудностях, потом перешел к оценке работы врачей. В свой адрес

я услышала исключительно хвалебные слова. Удивилась, подумала: к чему бы это? Оказалось, что комиссия была аттестационной. И по ее рекомендации меня назначили начальником хирургического отделения.

— Будьте готовы к тому, что в любой момент вас могут перевести в другой госпиталь, — сказал нарком и добавил: — Кадры нам нужны позарез.

Честно говоря, такой ход событий меня не обрадовал. Я сдружилась с коллективом этого госпиталя. Мне нравилось мое начальство, особенно доктор Махотина, которая к этому времени уже предоставляла мне полную самостоятельность. К тому же я не могла оставить одного своего больного.

Несколько дней назад из Подмосковья, прямо на плащ-палатке, в тяжелейшем состоянии в госпиталь был доставлен командир партизанского отряда «Мститель», по фамилии Парамонов. Он получил множество огнестрельных ран. Я стала его лечащим врачом. Пришлось сделать ему шестнадцать операций, причем восемь из них — сложных. Будь моя воля, за терпение и оптимизм я бы присвоила этому человеку звание Героя Советского Союза. Терпение — ведь это тоже геройство. Парамонов верил мне безраздельно. И мой уход, как говорил он сам, был бы для него равносителен смерти. По просьбе командира партизанского отряда меня временно оставили в госпитале. Я работала уже заместителем начальника хирургического отделения. Случалось и выезжать на фронт, в самое пекло боев. Наша бригада называлась «Помощь фронту». Помню, как под шквальным огнем мы вытаскивали раненых. Это было под Ельней.

Но как только Парамонов поправился, меня перевели во вновь организованный госпиталь. Назначили начальником отделения и присвоили звание —

майора медицинской службы. В моем отделении было, как у нас говорится, сто пятьдесят коек.

Работа на новом месте была неизмеримо труднее. Дело в том, что это был единственный на весь Советский Союз госпиталь, который специализировался на огнестрельных ранениях мочеполовой системы и кишечника в сочетании с повреждением костей таза и тазобедренных суставов. Сложнейшие больные!

Для меня урология была новой специальностью, и поначалу я отказалась быть ведущим хирургом отделения. Тогда начальство пошло на обманный маневр. Мне дали отделение только с хирургическими больными, хотя и очень тяжелыми. А когда работа пошла на лад — профиль отделения изменили. Волею-неволею мне пришлось стать хирургом-урологом.

Освоить новую специальность мне помогал профессор Смеловский. Он научил меня секретам анестезии, особенно местной, тонкостям новокаиновых блокад.

Вместе с ним мы разработали ряд новых операций при сложных комбинированных ранениях. Он настоял на том, чтобы я начала работу над диссертацией. Моя фронтовая практика и в самом деле давала ценный материал. Очень помогал мне и наш главный уролог Иосиф Наумович Шапиро. Многие имена забыла, а его почему-то помню. Может быть, потому, что была бессменной его ассистенткой. Помню, что он всегда шутил, а готовясь к операции, непременно рассказывал анекдоты. Его любили в госпитале, но между собой называли «Себе Наумович».

Были и случайные люди в медицине, помышляющие только о карьере. Так, с чьей-то подачи в наше отделение направили кандидата медицинских наук,

некоего Гимпельсона. Сразу же в отделении образовалось двоевластие. Он взял на себя командные функции, а мне предоставил исполнительные. На мой взгляд, в хирургии он был профаном, к тому же по характеру — человеком спесивым. А отсутствие профессионализма в сочетании с самоуверенностью — смесь опасная. Может быть, я бы работала с ним и дальше, если бы не один эпизод, буквально повергший меня в состояние шока.

В отделение поступил паренек лет четырнадцати из партизанского отряда. Пуля повредила ему мочеиспускательный канал. Необходимо было делать бужирование, другими словами — инструментальное расширение канала. Трудно себе представить, но Гимпельсон, этот, с позволения сказать, кандидат наук, начал проводить бужирование без всякого обезболивания. Я прибежала, услышав безумный, нечеловеческий крик мальчишки. Он был уже почти без сознания. Вне себя от возмущения, я вырвала у Гимпельсона инструмент, оттолкнула от больного и заорала: «Вон из операционной!»

Долечивала юношу сама. Но перед начальством госпиталя поставила вопрос ребром: или я, или он. Уволили Гимпельсона. Правда, через какое-то время он вернулся, но я работала уже в другом месте.

Были среди моих коллег и удивительные люди, с судьбами поистине трагическими...

СМЕРТЬ НА ЛЕТУ

Я сама присутствовала на этой конференции. Она проходила в 43-м году в институте Склифосовского. Это была конференция хирургов московских госпиталей, и обсуждался на ней очень важный вопрос: как избежать ампутации конечностей при газо-

вой гангрене. С докладом по этой проблеме выступил академик Сергей Сергеевич Юдин. Он предложил новые методы борьбы с анаэробной инфекцией. Конкретнее, Юдин рекомендовал делать большие разрезы для доступа кислорода к тканям. Эффективность этого метода превысила все ожидания: благодаря ему многим людям были сохранены не только руки и ноги, но и сама жизнь.

О Юдине можно говорить много. Еще в 1930 году он впервые произвел переливание трупной крови человека. Известны его труды по хирургии желудка и пищевода, неотложной и военно-полевой хирургии, анестезиологии. Сергей Сергеевич вообще был всесторонне одаренным человеком: рисовал, играл на скрипке.

Непревзойденный хирург, он пользовался большим авторитетом не только в Союзе, но и за границей. И, по-видимому, его популярность кому-то мешала. Во время войны Сергей Сергеевич был приглашен в Англию на научную конференцию. Буквально на всех зарубежных врачей он произвел огромное впечатление и как ученый, и как практик, много сделавший для спасения раненых. Когда настал день отъезда, в знак признательности англичане послали в подарок русским врачам полвагона шоколада.

Этот шоколад и послужил поводом для клеветы и доноса. Академика, как водилось тогда, объявили английским шпионом, выдавшим якобы стратегические секреты. Юдин был арестован.

Последний раз я видела его при печальных обстоятельствах — в день похорон профессора Алексея Дмитриевича Очкина. Он был лучшим другом Сергея Сергеевича, возглавлял больницу им. Боткина и одновременно работал главным хирургом Кремлевской. Заключение Юдин каким-то обра-

зом узнал о смерти коллеги и добился-таки разрешения проститься с ним.

Никогда не забуду этой картины. Шла торжественная процедура похорон. Гроб с телом Очкина установили на постаменте перед Боткинской больницей. Духовой оркестр играл траурные мелодии. Вдруг толпа расступилась. По длинному людскому коридору под конвоем двигалась высокая, прямая, скорбная фигура.

— Боже мой! Это же Юдин! Сергей Сергеевич... — то там, то здесь слышался шепот...

У гроба академик остановился, опустился на колени и простоял так несколько минут. Потом встал, поклонился еще раз покойному, и те же конвоиры тем же длинным коридором увели его назад.

Знаю, что в тюрьме Юдин просидел несколько лет. Выпустили его уже после смерти Сталина. Но прожил он недолго. Однажды его пригласили в какой-то город на консультацию. Когда летел обратно, в самолете с ним случился сердечный приступ. Сделать ничего не удалось, он умер прямо в полете. В буквальном смысле это была смерть на лету. Уже посмертно ему присудили Ленинскую премию.

НАШ ПОМОЩНИК — КАРМАННЫЙ ВОР

Разные больные попадали во фронтовой госпиталь... Однажды поступил к нам с заболеванием почек и обширным ранением в области лопаток старший сержант. Назову его П. После операции он быстро пошел на поправку, подружился с медперсоналом отделения. А когда набрался сил, стал помогать санитарам: привозил и отвозил на каталке раненых в операционную или перевязочную, даже помогал делать уборку. А вечерами раз-

влекал больных игрой на гармошке. В госпитале задерживаться он не хотел, рвался обратно на фронт, в свою часть. Но мы не спешили его выписывать.

Шел 43-й год. Из эвакуации возвратились мама с моей дочкой. Нашу квартиру в Лаврушинском отремонтировали после бомбежки. Хоть холодно и голодно — мы были дома. Тревожила меня болезнь Милочки. В Чебоксарах она заболела скарлатиной, лежала в больнице, но выздоровления не наступило. Я решила обследовать ее в нашем госпитале. Результат оказался неутешительным: у нее обнаружили туберкулез легких. Об этом узнали мои коллеги и даже раненые.

В это время и пришла пора нашему безотказному помощнику возвращаться на фронт. Накануне этого дня я дежурила по госпиталю. Вечером пошла делать обход. Вижу на койке старшего сержанта вместо него самого лежит муляж в виде спящего человека. «Очередная шутка», — подумала я.

Время шло, а сержант не возвращался. Часы пробили полночь. Расстроенная, я присела за письменный стол у открытого окна в коридоре на 4-м этаже. Сестру отпустила отдохнуть. Сама же стала думать: куда сбежал мой подопечный без увольнительной? Наверняка его задержат, и наверняка ему известно, что за эту самоволку понесу наказание я.

Вдруг слышу странные звуки за окном: как будто кто-то ползет по водосточной трубе. А через несколько мгновений на подоконнике появились сначала руки, а затем и голова моего сержанта. Легко, как кошка, он соскочил на пол. Сделал знак, чтобы я не шумела. Уселся напротив меня и, воровато озираясь, вынул из-за пазухи целую пачку денег. Я обомлела, потом спросила:

— Что это? Откуда?

Он опять посмотрел по сторонам, придвинул мне деньги и сказал:

— Это на лечение дочки.

Я вскочила на ноги, побледнела от возмущения и почти заорала:

— Как ты посмел?

Сержант схватил меня за руку, снова усадил на стул и прошипел:

— Это же не тебе, а больной дочке.

Я молчала. Он посмотрел на меня странными, шалыми глазами и выпалил:

— Ты же не знаешь, я урка, карманный вор. Так сложилось. Я рано остался без родителей, а жить-то было надо...

Потом стал рассказывать... За год до войны он стал настоящим воругой-карманщиком. Промышлял в основном на вокзалах. В конце концов попался. Отсидел в тюрьме два года, а когда началась война, его направили в штрафной батальон. После первого боя от роты в живых осталось всего два человека. За проявленную храбрость его наградили орденом Красной Звезды, из штрафного батальона перевели в обычную часть. А спустя время присвоили звание старшего сержанта.

— Сегодня, — закончил он свою исповедь, — я работал в ЦУМе, крал только у тузов. У бедных я никогда не беру.

От денег я отказалась. Он сунул их в стол и, видя мою непреклонность, пригрозил:

— Донесешь начальству, тебе несдобровать. Мне терять нечего! Но учти, это моя последняя кража, и только ради твоего ребенка. Ты была так добра ко мне. Я такого не знал. Я должен был помочь тебе... А у кого я украл, у тех они лишние. — И закончил жестко: — Можешь донести на меня только через

три часа после моего ухода из госпиталя. Иначе... Повторяю, мне терять нечего.

Сержант выписался утром. Через три часа я доложила о случившемся начальнику госпиталя Макеевой. Она вызвала замполита. Тот взял деньги и, не пересчитывая, куда-то унес. Макеева мне шепнула:

— Ну, ты и дура.

...Сержанта я встретила уже после войны. Он выходил из ЦУМа с симпатичной девушкой. Был уже офицером, грудь украшали ордена. Он улыбнулся мне, помахал рукой, но не остановился. Наверное, до сих пор не мог понять, почему я не взяла деньги на лечение дочки...

ДВЕ БУТЫЛИ СО СПИРТОМ

Необычные события происходили в госпитале 7 ноября, когда отмечалась очередная годовщина Октябрьской революции. По случаю праздника наши шефы с фабрики имени Бабаева привезли спиртное. Угостили раненых, а большую часть оставили для нужд госпиталя, что называется, про запас. В военное время спирт ценился на вес золота. В этот праздничный день я опять дежурила по госпиталю. У всех было приподнятое настроение. К раненым в гости пришли девушки. После небольшого концерта начались танцы. И тут произошел курьез.

Шефам категорически запретили дополнительно давать раненым спиртное. Я была начеку. И вдруг увидела: мой пациент, красавец парень, приглашает девушку на танец, а из кармана у него торчит бутылка. Схватила его за руку, отвела в сторонку и сказала:

— Немедленно отдай бутылку!

Девушка смотрела на нас с недоумением. Парень покраснел как рак и шепотом вымолвил:

— Доктор, это же бутылка с мочой...

Я чуть не провалилась на месте от стыда. Проклинала себя за забывчивость: у парня в мочевом пузыре был дренаж! Кое-как я все-таки сгладила свою оплошность.

Но вечером начались другие события, тоже связанные с этим злосчастным спиртом. Веселье уже окончилось, ушли шефы, раненые разошлись по палатам. Мне же полагалось обойти отделение. Спускаясь вниз, заметила, что в подвальном помещении горит свет. Открыла дверь и увидела распахнутое окно, а прямо под ним грузовую машину. И не кто иной, как наш завхоз подавал какому-то человеку в машине бутылку со спиртом. Меня они не заметили. Присмотрелась повнимательней: человек в машине оказался сыном завхоза. В госпитале мы прозвали его «членовредителем». Чтобы не попасть на фронт, он прострелил себе ладонь, был освобожден от службы в армии и работал в нашем госпитале. Я не выдержала и крикнула:

— Что вы делаете? Хотите попасть под трибунал?

Сын завхоза быстро передал отцу какую-то железку. Видимо, заводной ключ от машины. Завхоз стал медленно оттеснять меня от двери и ловко закрыл ее. Потом замахнулся на меня ключом. Вскрикнув, я отшатнулась. Но, к счастью, раздался стук в дверь. Завхоз отпустил занесенную руку и, криво улыбаясь, сказал:

— Я пошутил.

Вошли дежурные офицеры. Грузовая машина дала полный газ и исчезла за углом.

Утром, на конференции, я собралась доложить о случившемся. Но начальник госпиталя, не дав вы-

молвить мне и слова, выпроводила всех врачей. Мне же категорически заявила:

— Я в курсе дела. Спирт увезли по моему указанию.

Но история с бутылкой имела продолжение. Я уже работала в клинике Бакулева, когда узнала ужасную весть: убили нового, только назначенного начальника моего госпиталя — Виноградова. Как выяснилось, Виноградов узнал, что некая воровская шайка во главе с завхозом занимается хищением продуктов со склада госпиталя. Милиция устроила засаду у дверей склада снаружи. Виноградов спускался по внутренней лестнице, не зная, что воры сидят на складе и ждут грузовую машину. Милиции удалось взять банду. Но Виноградова застрелил один из бандитов.

ВОЛКИ — ЗВЕРИ, ЛЮДИ — ВОЛКИ

Эту историю я и рассказывала Шолохову.

В первые месяцы после войны в Москве было голодно. В августе 45-го мы решили отправить детей на мою родину, в село Паревку. Там жила моя тетка. Отправили всех троих: мою дочь Милу и двоих племянников — Аллу и Сашу.

Но уже в конце сентября я получила телеграмму: «Срочно выезжайте. Дети тяжело больны» Отпросившись у начальника эвакогоспиталя, я выехала из Москвы. На руках у меня был военный билет, литер на три дня и маленький саквояж.

За три дня обернуться было трудно, все-таки я ехала в глубинку, но начальство было неумолимо — возвратиться я была обязана вовремя. Госпиталь был переполнен ранеными, а в моем отделении лежали самые тяжелые больные.

Билет на Тамбов мне удалось получить почти

без затруднений. Правда, вагоны были забиты военными, в основном демобилизованными и возвращавшимися из госпиталей. Пришлось дремать практически стоя и изредка сидя. До Тамбова доехала без задержки. И тут же мне снова посчастливилось пересест в состав, идущий на Инжавино (это районный центр). На этот раз вагоны были полупустые. Причем ехали в основном деревенские женщины с мешочками и корзинами. Разместившись на скамеечке, я стала думать только о своих детях: как они, что с ними? Скорее бы увидеть и вывезти в Москву... Постепенно сморила усталость, и я впала в полудремотное состояние. Однако заметила, что все пассажиры смотрят на меня не то встревоженно, не то недоуменно... Может быть, потому, что одета я была в полувоенную форму: плащ-палатка, шапка и сапоги. Мало-помалу сидящие рядом женщины завели разговор: кто я, откуда, куда еду? Сказали, что дорога из Тамбова до Инжавина очень беспокойная — орудуют банды. И вот что я узнала.

С фронта возвращалось огромное количество демобилизованных солдат и офицеров. Поезда не могли вместить всех желающих. Некоторые смельчаки — а их было немало — залезали на крыши вагонов со своими пожитками, да так и ехали, не подозревая, что почти на пороге дома их ждет смерть.

Надо сказать, что железная дорога от Тамбова до Инжавина в большой своей части проходит среди леса. И, как рассказали женщины, на определенных участках этого пути бандиты натягивали металлические тросы через дорогу, прикрепляли их к огромным дубам, как раз на уровне крыши вагонов. Когда шел поезд, люди, ехавшие на крыше, сбрасывались этим тросом. Одни попадали под колеса,

другие летели в стороны. Бандиты набрасывались, отбирали чемоданы, стаскивали одежду и скрывались в лесу. Кто сопротивлялся, того убивали.

Рассказы моих попутчиков напоминали детективный роман. Не верилось! Ведь война окончилась и наступил долгожданный мир. Поэтому я не испытывала никакого страха.

Поезд потихонечку шел вперед. За окном моросил мелкий осенний дождь. Завораживающая тишина стояла вокруг. До Инжавина доехали благополучно: я с облегчением вздохнула — все-таки две трети пути проехала... Осталось только добраться до родного села.

В Паревке я не была лет двенадцать, но помнила, что расстояние до него от Инжавина — двадцать километров. Для меня это и расстоянием не было, так, пустяки... Ведь в детстве я могла за светлое время дня пройти от города Кирсанова до Паревки и обратно, то есть запросто махнуть шестьдесят километров. Но когда я вышла из вагона, уже было темно. Под ногами чавкала грязь, и ноги разъезжались во все стороны. Самым разумным было переночевать в Инжавине, а наутро, раненько, тронуться в путь. В один из окраинных домиков я постучалась, чтобы попроситься на ночлег. Вышла пожилая женщина с недобрый, поникшим лицом. Осмотрела меня с ног до головы и сразу же стала закрывать дверь, бурча под нос какие-то слова, из которых я поняла только одно: «Идите отсюда, да поскорей». И дверь захлопнулась. Пошла дальше. Постучалась в другой дом. Вышел старый мужчина. Рассказала ему, что мой путь лежит в Паревку, что это двадцать километров хода, что на дворе дождь и ночь. Спросила:

— Не разрешите ли переночевать? Утром, как только посветлеет, уйду. За ночлег заплачу.



Прасковья Мошенцева в Кремлевской больнице



Спортсменка, комсомолка, отличница.
Воронежский мединститут, 1936 год



Из партизанского отряда привезли мальчика 14-ти лет.
Он умирал...
Фронтонвой госпиталь, 1942 год



Муж (слева) с друзьями-разведчиками.
Встреча под Либавой, 1944 год



Вместе с мужем (справа) и его товарищем.
Апрель 1945 год



Во время войны я делала первые шаги
в хирургии и травматологии.
Фронтowej госпиталь 1942 год



На всю жизнь вместе.
Париж, 1953 год



Вячеслав Мошенцев в парадном мундире



В кругу семьи



Дружная компания врачей в парке Сокольники,
где размещалась 2-я Кремлевская больница



Коллектив хирургического отделения 1-й Кремлевской больницы на улице Грановского

Дед поозирался по сторонам и почти шепотом сказал:

— Ночевать нельзя здесь, касатка... Шас бандиты из леса выходить начнут. Знаешь, их сколько? Тыща... А может, и больше... Все дома будут заниматься... Переночуют, а на день опять уйдут в леса. А ночью они пьянствуют, жрут все, что найдут. Насилуют женщин, а кто сопротивляется или заступает за них, того убивают. А если узнают, что ты из Москвы, то не могу даже представить, что с тобой будет. Да и мне несдобровать.

Дед сказал, что в Инжавине нет ни одного милиционера. А когда они появляются, их убивают, если они не успеют скрыться.

— Вся местная власть прячется, — вздохнул сокрушенно дед. — Ходят слухи, что скоро сюда пришлют военных. Дай-то Бог! Скорее бы!

Он посоветовал мне не терять времени и идти прямо в Паревку. Сказал, что это менее опасно, и показал дорогу.

— А чтобы не сбилась с пути, держись телеграфных столбов.

Только я вышла из Инжавина, как наступила совсем темная ночь. Ни неба, ни земли нельзя было различить. Не видно было и телеграфных столбов — единственного моего ориентира. По-прежнему, не переставая, моросил холодный мелкий дождь. Когда шла по твердому грунту, ноги меня еще держали, но как только теряла его, тут же начинала скользить и падать. Вставала, снова искала телеграфный столб и двигалась дальше. Не знала, сколько километров отшагала и в том ли направлении... Но когда я покатила куда-то вниз, под гору, мелькнула успокоительная мысль, что я на правильном пути. Вспомнила, что в детстве, когда мы ездили с дедушкой в Инжавино, на пути всегда встречался

овражек, куда вплотную подходил лес. Здесь всегда было влажно и скользко, а потому лошади с трудом преодолевали это препятствие, особенно после дождя. Помнила я, что от этого оврага до Паревки — примерно четыре-пять километров. Я воспрянула духом.

И вдруг в кромешной темноте наткнулась на какое-то живое существо, которое отскочило от меня с возгласом: «Кто это?» Боже мой! Голос был детский. С трудом я различила мальчика лет тринадцати-четырнадцати.

— Я — почта, — объяснил он мне. — Иду из Паревки в Инжавино. Это единственное сообщение между селом и районным центром.

Оказалось, бандиты хозяйничали во всем районе. Они перерезали телефонные провода и контролировали дороги, поэтому о какой-то связи через взрослых и речи не могло быть. Придумали поручить это дело школьникам. Как правило, они добивались до центра ночью и хоть как-то поддерживали связь. Мальчик помог мне выбраться из оврага, сказал, что до Паревки совсем недалеко.

Пошла дальше более уверенно. Но вдруг справа от дороги увидела маленький огонек, который то появлялся, то исчезал. Подумала, что от усталости вижу мираж. Отвернулась. Посмотрела влево и там увидела такой же огонек, даже не один, а два. Причем, когда я останавливалась, останавливались и огоньки, шла дальше — двигались и они. «Теперь я попалась — это бандиты с папиросами в зубах, — подумала я обречено. — Но почему они не нападают? И почему не слышно их шагов? — И тут меня осенило: — О радость! Это же волки!»

Теперь я была уверена, что светящиеся огоньки — это глаза волков. Опять вспомнила детство, рассказы взрослых о повадках волков. Их было множество

в наших краях, поэтому-то в народе и появилось выражение «тамбовский волк». Особенно быстро они размножились во время войны. Отстреливать их было некому, все мужчины — на фронте, поэтому волки обнаглели и разгуливали свободно повсюду. Позже я сообразила, что шла по краю леса и, по-видимому, где-то недалеко жили волчата. Охраняя их, волк и волчица сопровождали меня до тех пор, пока вдали не появился уже настоящий огонек — то была деревня. Волки исчезли так же внезапно, как и появились. Почему я не испугалась? Вспомнила наставления бабушки: «Осенью волки сыты и на людей не нападают, а зимой — берегись».

Слабо мерцающий, но спасительный огонек снова придал мне уверенности. Я пошагала дальше и добралась, наконец, до избышки.

На мой стук никто не ответил. Я потихоньку потянула на себя дверь, она очень легко распахнулась. Войдя в дом, увидела женщину, которая, согнувшись, что-то вынимала из печки. Она медленно распрямилась и так же не спеша посмотрела на меня.

— Простите, не знаете ли вы Дашковых? — спросила я. — Они всегда жили в центре села, там, где школа и церковь. Сейчас ночь, темно, боюсь сбиться с пути.

Женщина молча рассматривала меня и без всякого интереса спросила, кто я и откуда... Потом покачала головой и тихо сказала:

— Ты туда сейчас не дойдешь.

— Но почему? — спросила я.

Мой вопрос ее, видимо, удивил. Она продолжала:

— Что, ты не знаешь? Была война, колодцы с деревянными срубами за это время все сгнили, остались только глубокие ямы, из которых мы с трудом достаем воду. А они все — по краю дороги. Так

что в такую темь легко в них провалиться. Ночью-то здесь никто не ходит.

В это время на печке кто-то завозился и засопел. Я увидела голову мальчика лет двенадцати-тринадцати и немного повеселела. Вспомнила, как мы, деревенские дети, в своем селе знали все тропинки и с закрытыми глазами могли найти все, что нужно. Потом попросила женщину:

— Нельзя ли, чтобы мальчик проводил меня?

Женщина, глядя на мальчика, тихо произнесла:

— У него нет обуви. И это мой единственный кормилец — не пущу. — Потом медленно повернулась к горящей лампаде. — Вот видишь, лежит. Пришел с войны и умер.

В полумраке я разглядела на лавке мертвого человека. И только теперь сообразила, почему из всех домов нашего большого села горел этот один-единственный огонек. Это был свет лампы над покойником.

Внезапно я увидела ужасающую нищету этого дома, сироту-мальчика, тусклые безжизненные глаза еще молодой хозяйки. Невольно моя рука потянулась к саквоюжу. Я вытащила оттуда последнюю горсть кускового сахара, который собрали мне в дорогу раненые, повернулась и вышла из дома. Встала под крышу, укрылась от дождя и решила здесь дожидаться рассвета. От увиденного и пережитого меня охватила неудержимая дрожь, к тому же я промокла до нитки, в сапогах хлюпала вода.

Прошло несколько минут, вдруг дверь распахнулась, и выбежал мальчик:

— Тетя, подожди! — крикнул он в темноту.

— Здесь я, — тут же отозвалась я.

Мальчик попросил меня держаться за подол его рубахи, которая явно была с чужого плеча, потому что все время съезжала, и молча повел, шлепая по

грязи босыми ногами и постоянно шмыгая носом. Мы шли в полной темноте по каким-то скользким извилистым дорогам. Наконец мальчик сказал:

— Пришли, вот этот дом.

Это были единственные слова, которые он произнес за весь наш нелегкий путь. В это же мгновение он исчез в темноте.

— Спасибо! — только и успела я крикнуть ему вслед.

Радости моей не было конца. Вот он — теткин дом, где мама и дети. Стала негромко стучать в дверь, чтобы не испугать детей, — молчание. Громче — снова ни звука. Никто не откликнулся. Наверное, от отчаяния я закричала:

— Боже мой! Да есть ли кто-нибудь в доме?

И сразу услышала шорох. Дверь отворилась. Мама узнала мой голос и заплакала. Никто не предполагал, что я могу появиться из кромешной тьмы в такой час. Зажгли лампу. Я посмотрела на себя: вся в грязи, насквозь промокшая.... К тому же только теперь я почувствовала, что от постоянного напряжения мышцы ног как будто окаменели. Я немедленно сняла мокрую одежду, тетя Настя вытащила из печки большой чугунок с теплой водой и отмыла меня. Проснулись дети. Мила и Алла уже поправлялись, но Сашенька весь горел, у него была скарлатина. Не помню, какие давала лекарства, но вскоре ему стало полегче.

На следующий день проснулись все засветло, стали обсуждать, как везти больных детей. Мама ушла в сельсовет хлопотать о лошади, телеге, проводнике. Наконец погрузили больных детей на телегу и отправились. Взрослые шли пешком, даже извозчик, несмотря на то что был одноногим инвалидом. Лошадь еле тянула телегу, по пути то соскакивало колесо, то обрывалась сбруя. Мы теря-

ли драгоценные минуты. Каждый про себя думал, что из леса могут выскочить бандиты и тогда нам несдобровать. Но, к счастью, все обошлось благополучно.

Доехали до Инжавина, взяли билеты на Москву, которые осталось только закомпостировать в Тамбове, откуда и отправлялся поезд в столицу. Но уже в пригородном поезде нас предупредили, что из Тамбова выехать очень сложно: поезда идут переполненные, почти не останавливаясь. Но я опять надеялась на удачу.

Подъезжая к Тамбову, уже в тамбуре передала маме узел с вещами и деньгами, потом помогла вынести детей из вагона, и стрелой помчалась в билетную кассу, чтобы успеть закомпостировать билеты. Войдя в здание вокзала, увидела море людей: стоящих, сидящих и лежащих. Через людей приходилось перепрыгивать. К моему удивлению, окошко кассы было закрыто и никакой очереди к ней не было. Попробовала постучать, но мне никто не ответил. Пассажиры заворчали: «Чего стучишь? Билетов нет, и никто не компостирует. Поезда идут переполненные, и люди ждут неделю, а то и больше. Занимай лучше очередь». Пошла за советом к матери.

На перроне, почти на том же месте, увидела всех своих, но почему-то без узла с вещами. Дети плакали, а мама растерянно озиралась по сторонам. Рассказала, что как только я ушла, к ней подошел какой-то детина, показал нож, чтобы не сопротивлялась и не кричала, схватил узел с вещами и деньгами, да и был таков. Я бросилась в милицию. Но никто из милиционеров даже не тронулся с места. Один сонно произнес:

— Осталась жива, ну и хорошо. Иди подбру-поздорову.

Оказалось, что на вокзале и в самом Тамбове бесчинствовала все та же банда. Милиция чаще всего была бессильна. И ради такого пустячка, как узел с вещами, никто не собирался рисковать. Хорошо, что в моем военном билете осталось немного денег.

Я снова побежала к кассе, но она по-прежнему была закрыта. Пока я раздумывала, что делать, откуда-то появился старший лейтенант и игриво промолвил:

— Ну что, красавица? Посидим вместе недельку, а потом, может быть, и уедем.

Не знаю почему, но я разревелась, показала на больных детей. Лейтенант куда-то исчез, снова появился еще с двумя военными. Они и посоветовали мне попросить помощи у дежурной по станции, но с непременным условием: когда буду подавать военный билет и литер, в билет должна быть вложена десятка, да так, чтобы дежурная увидела. «Это единственный выход, — уверяли они. — Иначе не уехать». Я так и сделала. Когда шла, от страха подламывались ноги. Никогда в жизни не давала взятки. Спасители военные стояли сзади и делали вид, что ничего не замечают. Сработало. В это время уже приближался поезд, следующий на Москву. Женщина-дежурная схватила за руки девочек, я взяла на руки мальчика, а мама бежала сзади. На подножках вагонов висели люди. Поезд был переполнен. Наша дежурная оказалась здоровой теткой: она принялась стаскивать людей с подножек и с силой вталкивать в вагон маму с детьми. Меня вместе с Сашенькой втолкнули в вагон все те же военные. Как я им была благодарна!

Поезд тронулся, но мы еще стояли в тамбуре, у открытой двери. Малейший толчок или поворот поезда мог стать для нас последним. Но мир не без добрых людей. Через головы других пассажиров пе-

ренесли в глубь вагона сначала детей, а потом протолкнули и нас с мамой. Дети у чужих людей на руках быстро уснули.

И все бы хорошо... Но ночью вновь напомнила о себе тамбовская банда. На каком-то полустанке у висевших на подножке людей отобрали вещи, а двоих — мужчину и женщину — пырнули ножом. Мы не слышали криков, спали под шум колес. Обо всем узнали только утром, когда раненых удалось втащить в тамбур, а потом в вагон. Первую помощь им оказали. Но вряд ли им оставалось жить долго... Ножевые ранения были слишком серьезны. Истекающих кровью, их увезли на ближайшей станции...

В КЛИНИКЕ ПРОФЕССОРА БАКУЛЕВА

Сразу после войны в Наркомате здравоохранения составляли списки молодых врачей, работавших в госпиталях и способных пополнить научные медицинские кадры, заметно поредевшие в годы Великой Отечественной. Так случилось, что моя фамилия стояла в этом списке первой. Это значило, что мне предоставлялось право выбирать клинику по желанию. Я назвала клинику профессора Левита, по учебнику которого училась в медицинском институте. Но к Левиту я не попала: ему не понравилось, что перед началом работы я решила взять отпуск, и на мое место был принят другой человек.

Тогда заместитель наркома по кадрам предложил мне клинику профессора Бакулева. Я с радостью согласилась, так как о Бакулеве мы, хирурги, были наслышаны. Уже были известны его труды по хирургии легких, лечению огнестрельных ранений. Именно он был организатором и пер-

вым директором Института сердечно-сосудистой хирургии. На следующий же день я отправилась в клинику.

В раздевалке надела белый халат. Пыталась надеть и шапочку, но ни одна не держалась на голове из-за толстых кос. Тогда нянечка предложила:

— Идите так. В отделение входить не надо. Кабинет профессора — в коридоре.

Когда вошла в кабинет, увидела невысокого человека самой обычной внешности. Взглянув на меня, он строго произнес:

— Что это такое? Почему без шапочки? Выйдите немедленно!

Я буквально скатилась по лестнице вниз. Нянечка поняла свою оплошность, побежала в отделение и вернулась с белой пеленкой. Я повязала ее так тщательно, что ни один волосок не был виден, и снова направилась к профессору. Бакулев опять бросил на меня взгляд и сказал:

— Характеристика у вас безупречная. Такие врачи мне нужны. Завтра же приступайте к работе.

Позднее я убедилась, что стиль работы в клинике был весьма жесткий, прямо-таки диктаторский: неукоснительное подчинение любому распоряжению начальства. К тому же допускалась и грубость ведущих врачей. Во время операции случалось, что кричали на ассистентов и сестер, швыряли инструменты... Короче, в клинике было принято нагонять на всех страх — по поводу и без повода. Я числилась ординатором, а непосредственным моим руководителем был кандидат медицинских наук Гуляев. Подражая Александру Николаевичу, он тоже держал всех врачей в ежовых рукавицах. Не знаю, помогали ли подобные методы, но клиника считалась лучшей в Советском Союзе. Именно здесь впервые стали делать операции на сердце и легких.

Помню свое первое дежурство. «Скорая помощь» привезла больного с переломом бедра. Прюделав все предварительные манипуляции, я соединила костную ткань и по всем правилам наложила гипсовую повязку. На следующее утро обход делал сам Бакулев. За ним торжественно шествовала свита врачей и студентов. Я, как новенькая, шла в последних рядах. Подойдя к моему больному, профессор грозно спросил:

— Кто наложил эту повязку?

Все притихли. Только бросали друг на друга взгляды, как бы ища виноватого. Я тоже оробела и спряталась за чью-то спину. Тишина стояла мертвая. Бакулев повторил вопрос уже более мягко. Опять никто не ответил. Тогда он произнес фразу, которую я запомнила надолго:

— У этого хирурга золотые руки.

Постепенно я входила в курс дел и стала принимать участие в более сложных операциях. Как-то, осмелев, сказала Бакулеву, что у меня готова научная работа по материалам специализированного госпиталя. Для защиты диссертации нужно лишь все оформить соответствующим образом и назначить оппонентов. Реакция профессора меня огорошила:

— Ваша работа не по профилю нашей клиники. Мы в ней не заинтересованы. Возьмите какую-нибудь нашу тему, и надеюсь, вы быстро защититесь.

Я последовала совету профессора. И мне дали задание — найти и выделить вещества из плаценты новорожденного, которые бы способствовали заживлению ожоговых поверхностей. Исследования мои шли трудно. Специальной лаборатории для исследования не было. Мне выделили комнату в полуподвальном помещении, с плохим освещением, без вытяжных шкафов. А реактивы были далеко не безобидны для здоровья. Но все же я собрала инте-

ресный научный материал, наметила план дальнейших исследований. Собиралась работать и дальше... Но мужа направили в командировку в Югославию, и я должна была ехать с ним. Как ни жалко мне было прерывать ординатуру в бакулевской клинике, я подчинилась женской доле. Но зигзаги судьбы еще не раз сталкивали меня с Александром Николаевичем...

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ДУНАЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ

В начале 1946-го всей семьей мы приехали в Белград. Несколько позже привезли и нашего воспитанника — четырехлетнего племянника Сашу. Муж служил в торгпредстве, я — в Советско-Югославском морском агентстве. Я была обязана оказывать медицинскую помощь всем гражданам Советского Союза, которые находились в плаваниях по Дунаю на территории Югославии.

В послевоенные годы по этой реке плавало много наших пароходов, катеров, барж. Частенько моряки брали с собой жен и детей. Мне приходилось лечить не только травмы, различные заболевания вплоть до инфекционных, но и принимать роды.

Однажды роженица была так благодарна, что решила назвать свою дочку моим именем. Когда я сказала, что меня зовут Прасковьей, она задумалась на мгновенье, потом махнула рукой: «Прасковья так Прасковья!»

Время было нелегкое — миновал всего лишь год после окончания войны. На кладбищах в Белграде еще стояли очереди из гробов: людей, умерших от ранений, голода и болезней, не успевали хоронить. Чаще всего смерть наступала от туберкулеза легких.

Доносилось и эхо войны. Как-то в наше агентство пришло указание из Москвы: разыскать в Дунае труп советского моряка, помощника капитана, и определить причину его смерти. В поисковую ко-

миссию вошла и я. Работа, как и ожидалось, оказалась чрезвычайно трудной. Мы вылавливали из реки трупы, остававшиеся там со времени боев на Дунае. Никто не хотел хоронить погибших, хотя береговые службы обязаны были это делать.

Наконец, на этом дунайском кладбище мы нашли нашего моряка. При осмотре тела обнаружили явные признаки насильственной смерти. К сожалению, это был далеко не единичный случай гибели наших военнослужащих в мирное время. Чаще всего это происходило на территории Венгрии. Помощник капитана погиб там же. Венгры, по моим наблюдениям, более враждебно относились к советским людям, нежели югославы.

После этого печального путешествия Дунай мне уже не казался голубым. Я все чаще называла его «дунайским кладбищем»... И все-таки я полюбила Югославию. Мне нравились ее своеобразные города, контрастные краски ее природы... Но особенно — люди. Так же, как и мы в Советском Союзе, они были интернационалистами, особенно в послевоенное время: хорватов и сербов сближала общая победа над фашизмом. Братьями и сестрами называли они и нас, советских людей.

Летом 47-го после окончания учебных занятий югославы пригласили школьников, учителей и меня, врача, провести отдых на острове Раб в Адриатическом море. Никогда не забуду это чудесное путешествие! Для проезда по железной дороге нам выделили целый вагон, для плавания по Адриатике — пароход. Помню, в пути встретилась эскадра военных кораблей. На флагмане моряки выстроились в шеренгу, и офицер-югослав приветствовал нас, произнося в рупор русские слова: «Дорогие советские дети и учителя! Моряки югославского флота приветствуют вас и желают вам хорошего отдыха и здоровья».

Островитяне встретили нас тоже дружелюбно, разместили в прекрасной гостинице, устроили торжественный обед. Помню длинный стол, накрытый белоснежной скатертью, уставленный магнолиями и розами. Возле каждой тарелки лежала салфетка, искусно сложенная в виде лебедя. Обслуживали нас молодые люди — бывшие партизаны. Видимо, другой работы на острове не было. Еда была обильная и вкусная, но я узнала, что сами жители острова жили впроголодь. И мы делились с островитянами всем, чем могли. Наши школьники выносили из столовой хлеб, овощи и подкармливали югославских детей. Безоблачное это лето пролетело незаметно.

ВАЛЬС С ТИТО

В ноябре отмечалось 30-летие Октябрьской революции. К праздничному вечеру готовились с особым тщанием: ожидалась высокая гости. Правда, имена не назывались. Случилось так, что я опоздала на официальную, торжественную часть. Появилась на приеме, когда уже шел концерт художественной самодеятельности. После него начались танцы. Я стояла рядом со своей приятельницей Викой Воскобойниковой. Вика слыла невероятной модницей, очень следила за внешностью. И, разумеется, в этот вечер была неотразима.

Оркестр заиграл вальс «Дунайские волны». Вика замерла в ожидании партнера... В нашу сторону направился представительный мужчина средних лет, безукоризненно одетый и немного чопорный. Лицо его мне смутно кого-то напоминало. Я посторонилась, уверенная, что он хочет пригласить модницу Вику. Но незнакомец подошел ко мне и галантно пригласил на вальс. Мы легко закужились в вихре

музыки. Незнакомец спросил, работаю ли я в Белграде самостоятельно или нахожусь при муже. Не очень любезно я ответила:

— Вы очень любопытны.

Кавалер мой улыбнулся и больше ни о чем не спрашивал. Музыка замолкла, он проводил меня на место, подвел к Вике, раскланялся и словно растворился в толпе. Вика нервно схватила меня за руку и проговорила громким шепотом:

— Ты знаешь, кто это был? Это же Тито! Броз Тито!

Конечно, не явись я на вечер с опозданием, я бы увидела Тито на трибуне. А так я знала его только по портретам.

Больше встречаться с Тито мне не приходилось. Правда, не раз я видела его сына Жарко — он любил заглядывать в наш «Русский дом».

В 48-м дружбе Югославии с Советским Союзом пришел конец. Неожиданно на съезде Союзной народной скупщины президент республики Иосиф Броз Тито и его соратники вылили ушат грязи на Советский Союз и персонально на Сталина. Заседание этого памятного съезда транслировалось по радио на всю Югославию.

Для нас, да и для многих людей в самой Югославии такой поворот событий был полной неожиданностью. Еще вчера мы были «сестрами и братьями», а сегодня стали чуть ли не врагами. Воистину: «паны дерутся, а у холопов чубы трещат». На следующий день после съезда исчезли портреты Сталина, которые висели повсюду: в учреждениях, в витринах магазинов, на стенах домов. Вместо Сталина на нас смотрели другие лица: Карл Маркс, Ленин и сам Иосиф Броз Тито.

Правда, простые югославы продолжали нам симпатизировать. На улице, рынке, в магазине

можно было услышать тихое: «Русские, мы с вами». Тихое — потому, что люди боялись. Да и не зря: вскоре начался террор. Несогласных с политикой Тито сажали в тюрьмы, приговаривали к принудительным работам. Вскоре был репрессирован наш близкий знакомый Анте Зорич. Он был женат на русской, и с его восьмилетним сыном дружила наша дочь. Но в это же время из Москвы по личной просьбе Тито был приглашен профессор Бакулев, ставший уже светилом. Он должен был оперировать президента. Конечно, мы с мужем поехали встречать Александра Николаевича в аэропорт. Но, увы, так и не встретили. Кто-то опередил нас — Бакулев был уже в резиденции Тито. Я узнала, что операция прошла успешно, и через неделю Бакулев возвратился в Москву. Позже при встречах он шутил: мол, «побывал в плену у президента Югославии». С горечью говорил, что дети в стране голодают, а Тито регулярно принимает молочные ванны...

Через много лет я прочитала в книге актрисы Татьяны Окуневской, как однажды в Югославии Тито пригласил ее к себе во дворец и подарил букет черных роз. А на пальце у него было кольцо с черным бриллиантом.

УКРАЛИ ДИССЕРТАЦИЮ!

В это беспокойное время приключилась еще одна неприятная история. Наш посол в Югославии Лаврентьев вызвал меня к себе и предложил выступить в Военной медицинской академии Белграда с докладом. Дело в том, что из Союза я привезла научную работу на тему «Огнестрельные ранения таза с повреждением мочеполовой системы», которую го-

товила еще в госпитале. Разрешение Главлита, а проще цензуры, у меня, разумеется, имелось.

Случилось так, что о часе моего выступления в академии сообщили буквально накануне. У меня не было времени подготовиться и выбрать из обширной работы необходимый материал. Я отобрала его прямо перед выступлением. Остальное оставила на столе, в кабинете, куда меня пригласили. Обратила внимание, что, как только я покинула кабинет, двери заперли. Как выяснилось позже, кабинет этот принадлежал югославскому генералу — организатору конференции.

Доклад мой выслушали с большим вниманием. Коллеги-югославы задавали много вопросов. И фактически все свелось к дружескому собеседованию, которое длилось более двух часов.

Вернувшись в кабинет, я обнаружила, что моя научная работа исчезла вместе с рисунками, фотографиями, рентгенограммами. Поиски по горячим следам не дали результатов. Ничего не отыскалось и потом.

А несколько дней спустя в посольстве распространили постановление Советского правительства. Суть его заключалась в том, что за разглашение различного рода сведений, в том числе и о достижениях медицины, относящихся к периоду войны, грозило суровое наказание. «Слава Богу, — подумала я, — что «разглашение» в данном случае произошло не по моей инициативе, а по указанию посла». Когда я высказала это вслух, в посольстве переполошились и попросили меня по возвращении на родину ничего никому не рассказывать об этом случае.

Я молчала. Но в душе не могла смириться с тем, что мой труд пропал, что я не смогла защитить диссертацию. И больше всего угнетало то, что бесценный опыт специализированного хирурга-урологи-

ческого эвакуогоспиталя, единственного в стране, не сможет быть использован современными врачами и не войдет в историю медицины военных лет.

Тем временем обстановка в Белграде продолжала накаляться. Посольство запретило держать нам домработницу югославку. Пришлось отдать детей в школу, хотя им еще не исполнилось семи лет.

Дела в морском агентстве для меня не было. В течение полутора лет я проработала врачом в нашем посольстве. В 49-м мы уехали из Югославии.

ПАРИЖ! НЕОЖИДААННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А через два года мужа послали уже в Париж. Я, разумеется, должна была его сопровождать в качестве врача советского посольства. Предложение было неожиданным, более того — нас торопили с отъездом.

Собирались в приподнятом настроении. Немного удивила меня реакция мамы, которая несколько раз повторила: «Не хочу, чтобы ты ехала во Францию, лучше в другую какую-нибудь страну». Она даже всплакнула. Но я не придавала этому особого значения, насторожило другое — странный разговор с человеком, как теперь говорят, «в штатском».

За несколько дней до отъезда меня вызвал к себе начальник Лечебно-санитарного управления Кремля Марков Александр Михайлович. Он был не один. Рядом сидел мужчина средних лет, представительный и хорошо одетый. Мне предложили сесть. Начальник мой почему-то тотчас покинул кабинет, оставив нас вдвоем.

Не сводя с меня испытующего взгляда, человек «в штатском» заговорил о Париже. Предупредил о чрезвычайной ответственности, которую накладыв-

вает на советского гражданина работа за рубежом, тем более в такой стране, как Франция.

— Находясь в Париже, — наставлял он, — вы должны быть крайне осторожной и предусмотрительной. Одна, без сопровождающих, никуда не ходите! Ни в магазин, ни в театр, ни в музей — никуда! Кроме того, по долгу службы вы будете вхожи во все советские учреждения, во все дома советских граждан, находящихся во Франции. Если заметите что-либо необычное или подозрительное, сообщайте без промедления послу Алексею Павловичу Павлову.

Разумеется, я догадалась, к чему клонит мой собеседник, и довольно твердо сказала:

— Быть доносчиком не в моем характере. На эту роль я не гожусь.

Он как-то странно улыбнулся и сказал непонятную фразу:

— Жаль. Это для вашей же пользы.

На этом свидание закончилось.

Второе, столь же неожиданное предложение, но совершенно другого характера, мне сделал профессор Бакулев, который уже работал не в нашей клинике, а получил должность главного хирурга Лечсанупра Кремля. Он пригласил меня в свой кабинет. Я поздоровалась и увидела девочку лет десяти со всеми признаками врожденного порока сердца. Она тяжело дышала, синюшным было лицо, особенно губы. Бакулев начал с места в карьер:

— Прасковья Николаевна, взгляните на эту девочку! Вам будет понятна моя просьба. Там, куда вы едете, есть возможность приобрести инструменты для сердечной хирургии, особенно атравматические иглы. Экспорт этих игл в нашу страну запрещен, поэтому здесь их не достать. Зная вас как человека, прошедшего огонь, воду и медные трубы, я уверен, что вы мою просьбу выполните. Мы смо-

жем спасти вот таких детей. — Он опять кивнул в сторону девочки.

Я ответила, что, конечно, попробую. Но в душе обиделась: ну зачем он привел ребенка? Чтобы разжалобить меня? Уходя, подумала: «Эх, Александр Николаевич!..»

...И вот мы в Париже. Муж приехал во Францию в качестве помощника посла СССР в ранге третьего секретаря. С ним — я и младшая дочь, Люба, двух с половиной лет.

Помню, в аэропорту нас встретил представитель посольства, некто Позельский. Желая сделать приятное, он сразу показал нам главные достопримечательности Парижа: улицу Гренель, где находилось посольство, площадь Этуаль, Триумфальную арку с Вечным огнем, Елисейские поля, Эйфелеву башню, Дом инвалидов...

О красоте Парижа мы были наслышаны и начитаны еще в Москве. Но поначалу меня почему-то неприятно поразили любовные парочки, без стеснения целующиеся и обнимающиеся на виду у всех. Коробили и деревянные будочки туалетов, расположенные по краю тротуаров и открытые снизу так, что хорошо были видны ноги людей и льющаяся в унитаз струя... Мне было неловко смотреть на Позельского и даже на мужа. Мы приехали из закрытой страны — западная цивилизация была для нас непривычной. Казалось, все эти парочки и будочки портили вид Парижа. В этот первый день Париж не привел меня в восторг.

Почему-то вспоминалась Москва: наш дом в Лаврушинском переулке, Третьяковская галерея, набережные Москвы-реки, Большой Каменный мост. И белоснежные катера, проплывающие под ним... Или вечерняя панорама Кремля, которую можно было увидеть прямо из окон нашей квартиры, похожая на картинку из русской сказки...

МОЙ КОНКУРЕНТ — ЭМИГРАНТ ИЛЬИН

В первые дни работы было мало. «Наверное, ко мне присматриваются...» — решила я. Но вскоре поняла, что причиной был прежний доктор. Дело в том, что до моего приезда врачом посольства работал терапевт по фамилии Ильин. Он был эмигрантом, но каким-то образом получил советское гражданство, правда, пока без права въезда в страну. Он и лечил всех советских. И вдруг появилась я. Конечно, Ильину это не понравилось.

У меня начались неприятности. Наверное, виной тому стал мой характер — прямой и открытый. Профессия хирурга заставляла меня быть предельно дисциплинированной, бескомпромиссной, выше всего ставить врачебный долг. А это не всем приходилось по вкусу.

Помню, первое столкновение произошло со вторым секретарем посольства. Назову его В. Так вот, В. принес документ из какой-то клиники на оплату аборта, сделанного его жене. В Советском Союзе в начале 50-х аборт строго запрещены. Во Франции, кстати, тоже. В поданной мне бумаге я усмотрела грубое нарушение закона и не только не подписала ее, но доложила об этом факте послу.

Второй конфликт был связан с женой одного из советников посольства. Ей предстояла операция по поводу искривления больших пальцев на ногах. Но операцию почему-то поручили делать не мне — хирургу, а терапевту Ильину, хотя я уже официально была назначена врачом посольства. Правда, меня пригласили поприсутствовать на перевязке. Я сказала что-то резкое и категорически отказалась. Знала бы тогда, что советник посольства был сотрудником госбезопасности!

После этого случая «зуботычины» пошли со всех сторон. В наказание за строптивость мне, помимо основной работы, поручили заведовать детским садом. Но вмешался муж, и посол отменил решение.

Все-таки постепенно мой авторитет восстанавливался. Помню, вызвали на квартиру заместителя торгпредства Коноплева, причем срочно. Когда приехала, у постели больного увидела все того же Ильина. Оказалось, что у Коноплева в течение двух суток сильные боли в животе, повышенная температура. Причем состояние ухудшается. Все это время он находился под наблюдением Ильина, поставившего диагноз «обострение хронического колита». Лечение проводилось соответственно этому диагнозу. Но улучшения не наступало. Пришлось вызвать меня, врача официального.

Когда я осмотрела больного, так и ахнула: острый приступ аппендицита! Коноплеву сказала:

— Немедленно в больницу на операцию.

Но он не соглашался, тем более что супруга его и доктор Ильин настаивали на прежнем диагнозе.

Я понимала, что промедление подобно смерти. Позвонила в торгпредство и сообщила о ситуации. С Ильиным разговаривала резко, даже пригрозила лишить практики из-за грубой врачебной ошибки. Говорила о других серьезных последствиях... Во всяком случае, больше в мою работу Ильин не вмешивался.

Из посольства пришла машина для перевозки больного. Рядом с шофером почему-то сидел советник. «Зачем он здесь?» — удивилась я про себя. В парижской клинике врачи подтвердили мой диагноз и тотчас приступили к операции. По наивности я предложила свои услуги. Мне вежливо отказали. Согласно французским законам иностранцев к операционному столу не допускают.

Я, шофер и опять почему-то советник остались ждать исхода операции. Красавчик дипломат всячески развлекал нас: показывал фокусы, рассказывал анекдоты... Как будто находился здесь, у операционной, специально для этого. Часа через полтора вышел хирург и с облегчением произнес:

— Хорошо, что привезли больного... Хотя и с опозданием. Червеобразный отросток был в стадии прободения, начинался перитонит.

Советник посмотрел на меня и недобро ухмыльнулся.

Постепенно работа моя вошла в нормальную колею. Счастье, что я владела многими специальностями: медицинскую помощь надо было оказывать самую разнообразную. К тому же контакты с другими врачами, особенно французскими, запрещались. Разрешалось иметь дело только с врачами-коммунистами. Можно себе представить, в какой изоляции я находилась! Во всяком случае, ощутила на себе все прелести «железного занавеса». Было трудно. Но все-таки «табу» приходилось нарушать.

Я помнила наказ Бакулева: найти и переправить в Москву уникальные инструменты для операций на сердце. Едва приехав в Париж, я занялась поиском нелегальных источников для их приобретения. И нашла. Мне помог французский профессор-хирург. Это были атравматические иглы, то есть иголка и нитка изготавливались одного диаметра. Ведь когда делают операцию на сердце, прокалывают сосуды, и кровь свищет, как из крана. А эти иглы позволяли избежать кровотечения. Эти инструменты в те годы делались только во Франции. Я купила их на собственные деньги. Достала еще и скальпели, но иглы — было самое главное.

Кстати, в это время посол Павлов собирался лететь в Москву. Зная, что багаж посла проверке не

подлежит, я уговорила его взять «контрабанду» для Бакулева. Так что приходилось иметь дело не только с врачами-коммунистами.

Хоть и нечасто приходилось общаться с французами, я полюбила их за легкий характер, улыбочивость, изысканные манеры, всегдашний юмор. Помню, мы ехали в машине с сотрудником посольства. Он, явно нарушив правила движения, чуть было не стукнулся с машиной француза. Тот высунулся из окошка, вежливо улыбнулся и, как рога, приставил ко лбу указательные пальцы. Я вопросительно посмотрела на своего водителя: что сие значит?

— Это значит, — пояснил водитель, — что я — vache — корова... У французов это самое большое оскорбление.

МОРЯК С РАЗДРОБЛЕННОЙ РУКОЙ И ДРУГИЕ...

Однажды вечером меня вызвал посол Павлов и попросил немедленно выехать в Гавр.

— Случилось несчастье, — объяснял он. — Там стоит на якоре наше торговое судно, и моряку в машинном отделении раздробило руку. Уже трое суток он находится во французском госпитале. По этой причине судно не может продолжать свой курс. Но главное — состояние моряка резко ухудшилось. Ему назначена на завтра операция — ампутация руки.

Выехали тотчас. Сопровождали меня муж, как сотрудник посольства с дипломатическими полномочиями, и секретарь Позельский. Мужчины попеременно вели машину. Расстояние до Гавра было порядочным, а нам необходимо было приехать туда как можно раньше.

В 12 часов ночи мы поднялись по трапу советского парохода. Моряки помогли найти госпиталь, где лежал юноша. Несмотря на дипломатические паспорта, мы попали туда с большим трудом. К тому же в госпитале не оказалось дежурного врача: он ночевал дома — так принято во Франции.

Врача мы дожидались часа два. В это время слушали моряка: как произошел этот несчастный случай, как его лечат. Он пожаловался, что в госпитале за все три дня его никто не осмотрел, не сделали ни одной перевязки. Я пощупала руку — было впечатление, что это не рука, а сплошная масса засохшей крови, пропитавшей бинты.

Наконец пришел врач. Я попросила разъяснить, что является показанием к ампутации руки. Кроме того, попросила разрешения присутствовать при перевязке, чтобы самой посмотреть травму. Но... Ни разъяснения, ни разрешения не получила. О чем бы я ни просила, получала категорический отказ.

Честно говоря, не ожидала от французов такого безразличного, если не сказать больше, отношения к нашему соотечественнику. Недолго думая приняла решение — забрать из госпиталя больного и увезти в Париж. Конечно, был риск: у моряка не было визы, не имелось и заграничного паспорта. Это означало, что никто не даст разрешения на повторную госпитализацию. Но опять сработала моя отчаянная головушка: если потребуется операция — сделаю ее сама. Мне ли, военному хирургу, робеть?

Все вместе взялись за дело. Сначала отвезли больного на пароход. Там я сразу приступила к осмотру травмы. В течение часа отмачивала засохшие комки ваты, положенной еще при первой перевязке прямо на места переломов пальцев правой руки. А первая перевязка была сделана три дня назад. Это ли не варварство? Восхищение французами стало меркнуть.

Вспомнила случай, когда мне довелось оказывать первую помощь пленному немцу. Это был 46-й год. Я работала ординатором в 1-й Градской больнице — клинике мединститута. «Скорая помощь» привезла пленного немца с огромной скальпированной раной головы: примерно половина кожи с волосяным покровом была содрана и вывернута назад. Зрелище было ужасающее! Даже я, навидавшись за время войны всяких ранений, не могла смотреть на пленного без содрогания. Оказалось, немец работал на стройке и с большой высоты по касательной на него упал кирпич. Череп не пострадал, раненый был в полном сознании. Путая русские слова с немецкими, он умолял меня помочь ему, говорил о старой матери, о жене и детях, оставшихся в Германии. «Странный человек! — подумала я тогда. — Как будто, если бы их не было, мы не стали его оперировать и лечить».

Я сделала все возможное, чтобы спасти необычного пациента. Пластическая операция вернула ему прежний облик. Он пролежал в моей палате примерно месяц. Коллеги, посмеиваясь, спрашивали: как там твой друг немец? А мы действительно подружились. Немец, когда выписывался, плакал.

...И вот наш моряк во Франции в начале 50-х, уже после войны... Сломанные его пальцы были еще живые, не омертвевшие. Это меня обнадежило. Наложила антисептическую повязку на рану, уложила шину на руку, и мы тронулись в путь.

Вернулись в Париж утром. Не теряя ни секунды, я взяла больного в свою амбулаторию. Обезболила места переломов, сделала вытяжение каждого пальца, уложила их в правильное положение и зафиксировала гипсовой повязкой. Через три недели больной стал шевелить пальцами. Рука была спасена! Дальнейшее лечение моряк проходил уже в Советском Союзе.

А месяца через два мне пришлось выехать на побережье Атлантического океана, в порт Шербур. Заболела дочь Малика, представителя СССР в Совете Безопасности. В Шербур я приехала с небольшим опозданием. Вся семья ждала меня на набережной. Малик с супругой представляли собой весьма элегантную пару. С ними была и девочка. Малики возвращались в Париж, но дочь еще на пароходе почувствовала себя плохо: поднялась температура, болела голова. Мы ехали поездом, в комфортабельном купе. Никаких признаков острого заболевания у девочки я не нашла. Плохое самочувствие объяснялось морской качкой, которую она не переносила. Яков Александрович сразу повеселел, пришел в хорошее расположение духа, завел со мной разговор о политике, в чем признаться, я была полным профаном.

Малика это ничуть не смутило. Наоборот, он неожиданно раскрылся и рассказал мне много интересного из своей жизни дипломата и политика. Я внимала ему с открытым ртом. Он посматривал на меня с улыбкой и продолжал свой монолог. Так незаметно и доехали.

В следующий раз мне довелось встретиться с ним уже в Москве, в Кремлевской больнице. Но об этом позже...

Произошел еще один случай, заставивший меня изрядно поволноваться. И опять пришлось вступить в конфликт, теперь уже с торгпредом.

Неожиданно у его секретаря Тани Дмитриевой обнаружили туберкулез легких. Ей грозило увольнение и преждевременная отправка в Союз. А там, в Москве, у нее оставались дочка и мать, которые существовали только на ее зарплату. Нарушая существующие инструкции, я решила помочь ей остаться в Париже. Вместе с рентгенологом еще раз

тщательно осмотрела больную, нашла туберкулезный очаг. Но вот неожиданность! Расположен очаг был таким образом, что туберкулезные палочки в мокроту не попадали. Стало быть, для здоровья окружающих Татьяна опасности не представляла. Это и давало мне шанс не соглашаться с ее увольнением. И опять мне помогли друзья — французские врачи. С их помощью я достала самые новейшие и мощные антибиотики, сделала Татьяне более ста инъекций. Очаг был ликвидирован.

Но какой ценой досталась мне эта победа! Меня не раз вызывали «на ковер» не только к торгпреду, но и к послу. Предупреждали об ответственности, которую я на себя беру, и прочем. Я стояла на своем.

Прошло много лет. Моя Татьяна жива и здорова по сей день.

МАМА БРОСАЕТСЯ В ШАХТУ ЛИФТА

Эта страшная командировка в Москву возникла неожиданно. Мне было поручено сопровождать в столицу дочь маршала Тимошенко, которая собиралась рожать. Ее муж — военный летчик служил в Париже. Маршал же непременно хотел, даже требовал, чтоб дочь рожала на родине.

Летели самолетом. Все шло благополучно. И вот, в Шереметьевском аэропорту я благополучно передала будущую мамашу прямо в руки любящего отца.

Сама же поспешила проведать своих. По пути к дому остро ощутила, как соскучилась по маме и Милочке, которая уже училась в школе. Дома застала плачущую дочь. Мамы не было...

— Она в больнице, — еле выговорила Мила.

Уже позже я выяснила, что случилось страшное... Мама бросилась в шахту лифта. Пыталась покон-

чить с собой. Зачем? Почему? Я не могла найти причину. И только потом узнала, что накануне она получила известие о смерти брата, которого очень любила. Видимо, это и послужило поводом...

История такова. Мамин брат Иван, мой дядя, до войны служил моряком на Балтийском флоте. Сначала юнгой, потом получил звание капитана. Жил в Ленинграде, где получил квартиру. Там и женился на эстонке. Когда началась война, ушел на фронт, защищал Ленинград. Вернулся с фронта живой и невредимый. Но, как это часто бывало, жена не дождалась мужа. В своей квартире он застал своего бывшего друга.

Дядя Ваня остался без жены и без угла. Но это было лишь началом его несчастий. Чтобы завладеть квартирой, бывшие жена и друг написали, как водится, донос. Дядю Ваню осудили по известному «ленинградскому делу» и сослали в Сибирь. Все-таки он надеялся спастись: передавал письма маме, где писал, что ни в чем не виноват, что стал жертвой оговора. Наверное, надеялся на помощь моего мужа, работавшего в органах... Никто из родных не сомневался в его невинности. Но известно, какое беззаконие творилось в те годы... Куда бы ни обращались родственники, доказывая невинность дяди Ивана, — все было тщетно. В придачу ко всем бедам в ссылке он заболел туберкулезом и в 1952 году умер.

И, видимо, маму потрясло то, что сначала она получила бумагу о реабилитации брата, а ровно через два дня — извещение о его смерти. Она была вне себя от горя... Но, думаю, дело не только в этом. Мама давно разочаровалась в советской власти. Ведь на ее глазах арестовали и увезли в черной машине честного, преданного партии коммуниста. Хотели арестовать и ее. Это событие перевернуло всю ее

жизнь! Помню их вечные споры с мужем. Муж в шутку называл маму «троцкисткой», она его — «ежовщиком»... И вот теперь — смерть брата...

К счастью, мама осталась жива. С тяжелым сотрясением мозга, переломами ребер и ключицы ее отвезли во 2-ю Градскую больницу.

Я помчалась туда... Узнать маму было трудно. Сначала мне показалось, что это другой человек. Кроме всего прочего, за ней плохо ухаживали. Заведующая отделением сказала, что мама не выживет... Я направилась прямо к главному хирургу клиники, профессору Борису Петровскому. В коридоре встретила врача Татьяну Суворову, мою сокурсницу по Воронежскому мединституту. Обрадовалась, надеясь, что она поможет... Она же окинула меня с ног до головы оценивающим взглядом и холодно произнесла:

— Я слышала, ты стала парижанкой. Как тебе удалось?

Язык мой словно прилип к небу, я лишь спросила, где кабинет Петровского.

Борис Васильевич как будто ждал меня, любезно предложил стул. Когда я сказала о маме, он холодно произнес:

— Ну что же, каждый человек умирает... Что ж поделать? — И тут же сменил тему разговора, опять став внимательным и улыбчивым: — Вы же теперь в Париже. Многое можете. Вы мне достаньте инструменты для операций на сердце, а я вам помогу с мамой...

Он уже знал, что инструменты есть у Бакулева.

Я пообещала. Забегая вперед, скажу, что и Петровскому я переслала эти уникальные иглы. Но хотя бы раз уважаемые академики вспомнили о моей помощи, сыгравшей немалую роль в развитии отечественной сердечной хирургии. К тому же покупала

я инструменты на собственные деньги, а это два месячных оклада. Видимо, высокопоставленным академикам такие услуги казались мелочью. А мы, рядовые врачи, были для них просто «винтиками».

После разговора с Петровским я решила забрать маму домой. Он отдал необходимые распоряжения, дал капельницу для переливания крови, необходимые лекарства. На «скорой помощи» я привезла маму домой. Министерство иностранных дел пошло мне навстречу — предоставило отпуск за свой счет. День и ночь я выхаживала маму, а когда она поправилась, вернулась во Францию.

ФОТО ДЛЯ РЕКЛАМЫ

Этот случай всегда вспоминаю с улыбкой. В Париже мне предлагали сфотографироваться для рекламы! Можно вообразить подобное в 52-м году?

Приближался праздник Первого мая. В посольстве, по обыкновению, намечался большой прием. По протоколу, гостей на приемах встречают посол с супругой. Но жена Павлова уехала в Москву и на этот раз попросила меня ее заменить.

Я воодушевилась и решила доказать, что мы, русские женщины, «других не хуже», и даже более того. Прежде всего, тщательно занялась своей внешностью. Вместе с переводчицей отправилась в парикмахерскую. Когда парикмахерши распустили мои косы, расчесали и увлажнили разными бальзамами, то пришли в полный восторг! Мало того, стали настойчиво просить разрешения сфотографировать меня для рекламы. Прямо сейчас же, с новой прической. Причем предложили за рекламу немалые деньги. Я, естественно, отказалась. Ведь с детства мне внушали, что советская женщина должна вести

себя скромно и не пристало ей выставлять себя напоказ, тем более в чужой стране.

Французские мастера превратили меня из пастушки в королеву. Они соорудили из нескольких кос высокую прическу, а сзади, у ее основания, прикрепили переливающуюся всеми цветами «жар-птицу»... Я надела вечернее платье — бархатное, цвета бордо, — золоченые резные туфли на высоком каблуке. Руку мою украшал тяжелый витой золотой браслет.

Поглядела в зеркало и в первый раз не узнала себя. Красавица!

Посол одобрил мой туалет. Первомайский прием прошел, говоря дипломатическим языком, на высоком уровне. Помимо дорогих вин, русской водки, на столе стояла черная икра — любимое лакомство всех иностранцев. Гости были довольны. Я же исправно играла роль хозяйки.

Правда, в последующие дни испытывала на себе косые взгляды жен наших дипломатов. Они явно завидовали мне и даже пустили сплетню, что посол ко мне равнодушен. Но вечер был дивный... Я чувствовала себя настоящей женщиной.

«ДЕЛО ВРАЧЕЙ». ОТГОЛОСКИ В ПАРИЖЕ

О «деле врачей» мы узнали в Париже. В посольстве о нем не говорили. И я долго ничего не знала о происходившем в Союзе, более того в больнице, где недолго работала накануне отъезда за рубеж.

Неожиданно меня вызвал посол и объявил, что я арестована и буду находиться под домашним арестом до выяснения каких-то «обстоятельств». Мне не разрешили даже съездить за дочкой в детский сад — привезли сами. Я долго мучилась вопросом: что же такое могла натворить? Но все как воды в рот набрали.



И. В. Сталин —
один из моих первых «кремлевских» пациентов...



Н. С. Хрущев
рассказывал мне анекдот про социализм и воду...



Когда я впервые встретилась с Л. И. Брежневым,
он был полон сил и энергии



Г. К. Жуков.

Даже когда он не мог ни говорить, ни глотать,
демонстрировал истинно маршальский характер



Маршал Рокоссовский умирал у меня на руках...



Маршал Василевский.
Последним его желанием было закончить книгу о войне



Адмирал флота Кузнецов



Алексей Маресьев.
Такие люди в больницах не залеживаются

Только потом я узнала о «деле врачей», что называется, из первых рук. На рубеже 52—53-го годов в Москве были репрессированы врачи Кремлевской больницы, большей частью — профессора: терапевты и невропатологи. Поводом для громкого процесса послужили болезнь и смерть Жданова — члена Политбюро, первого секретаря Ленинградского обкома партии в годы Великой Отечественной, видного идеолога. Он входил в ближайшее окружение Сталина. И как выяснилось позже, был одним из организаторов массовых репрессий в 30—40-е годы. Заболевшего Жданова, разумеется, поместили в Кремлевскую больницу. Состояние его становилось все хуже и хуже. Срочно был созван очередной консилиум терапевтов и невропатологов: опять расшифровывалась электрокардиограмма и в который раз выносилось заключение о состоянии уже безнадежно больного Жданова.

На этом консилиуме присутствовала и доктор Тимашук, тогда обычная заведующая отделением функциональной диагностики. Она не согласилась с заключением консилиума, особенно с показаниями электрокардиограммы. Сам по себе случай не редкий в медицинской практике. Ее выслушали, но в лечении больного ничего особенно не изменилось: по-прежнему проводилась активная терапия сердечно-сосудистой системы и другие процедуры. Хотя лечащие врачи понимали, что помочь Жданову практически невозможно. Он умер в 1948 году.

Каким-то образом сам факт несогласия доктора Тимашук с мнением консилиума был взят на заметку в известных органах.

Через несколько лет гэбэшники в угоду Сталину стали строить целое дело. Пришел черед искать «врагов народа» среди врачей. Вспомнили о докторе Тимашук. Вызвали ее в органы, убедили, что

консилиум намеренно искажил картину болезни Жданова с единственной целью — умертвить верного соратника Сталина. Как умели убеждать в НКВД, — теперь известно каждому. На Тимашук поднажали, и она под диктовку написала письмо на имя вождя о злодеяниях кремлевских врачей. Об этом упоминает и Светлана Аллилуева в книге «Двадцать писем к другу».

Арестованные врачи, не выдерживая пыток и боясь за судьбу своих близких, в большинстве случаев наговаривали на себя. Однажды, уже после смерти Сталина и закрытия «дела врачей», профессор-терапевт Василенко рассказал, что пришлось ему вынести в энкавэдэшных застенках... Сначала он мужественно переносил все истязания, но потом не выдержал. Признался, что он — английский шпион. Ему хотелось единственного — умереть.

Что касается Тимашук, за заслуги перед государством ее наградили орденом Ленина. Одновременно в газете «Правда» появилась статья о ее сыне летчике, который во время войны сражался с фашистами, был сбит и горел в самолете. Почему-то вспомнили об этом спустя семь лет после окончания войны. Кажется, ему присвоили даже звание Героя Советского Союза.

Я была лично знакома с Тимашук. Мы работали в одной больнице, встречались на своих садовых участках под Чеховом, беседовали. Мне казалось, что она не виновата. Такого же мнения были многие наши врачи и медсестры. Мы считали, что ее, человека доверчивого, просто обманули. Но сколько жизней было погублено! О случившемся переживала она до конца своей жизни.

Ну, а в начале 53-го я сидела в Париже под домашним арестом. Длился он около недели. Потом

была встреча с Громыко — в то время заместителем министра иностранных дел, во время которой я и выступала в роли врача-«отравителя». Но об этом я расскажу позднее.

А спустя еще время состоялся разговор с послом. На этот раз Павлов извинился за крайне досадное недоразумение. Но опять не сказал, что связан мой арест с «делом врачей». Чтобы загладить свою вину, он даже пригласил всю нашу семью к себе на дачу, под Париж.

Почему-то запомнила не сам визит, а именно дорогу. Когда мы ехали в посольской машине с красным флажком, что означало — едет сам посол Советского Союза, — нас обогнала кавалькада машин с другим, американским флагом. Машины мчались стремительно, со скоростью, превышающей нашу раза в два. Американцы, прильнув к стеклу, весело помахали нам рукой, как бы хвастаясь своим превосходством.

Однако далеко отъехать им не удалось. Не прошло и получаса, как мы увидели те же машины дымящимися и искореженными. Произошла авария. Хорошо, что обошлось без жертв. Теперь уже мы обгоняли американцев. «Тише едешь — дальше будешь!» — произнес кто-то из наших.

Весной 53-го пришло известие о смерти Сталина. Это было потрясением. Отголоски скорби доносились и до Парижа. Помню, что все французские газеты, за исключением «Юманите», обрушились на нашу страну и на Сталина с руганью и разоблачениями. Первые полосы пестрели изображениями Сталина в виде монстра.

Казалось, в одно мгновение был забыт многолетний страх перед этим человеком. Как, впрочем, предавалась забвению и роль нашей страны в разгроме гитлеровского фашизма.

Однако среди французов было немало людей, сочувствующих нашему горю. Помню, в течение трех дней, с раннего утра и до позднего вечера, непрерывной чередой шли эти люди в посольство СССР, чтобы высказать слова соболезнования, положить цветы к портрету Сталина.

Признаюсь, я тяжело переживала эту утрату. Казалось бы, отчего? Не прошло и года, как наша семья пережила трагедию с мамой и ее братом. Да и сама я чудом избежала участи «врачей-убийц». Сейчас мне кажется, что все эти грустные события мы не связывали с личностью Сталина. Мы были как заколдованные... Или закодированные.

ПОКУШЕНИЕ

А летом 53-го случилось нечто из ряда вон выходящее... Началось с того, что заболел сотрудник нашего посольства. Рентгенограмму грудной клетки ему сделали в парижской клинике. Чтобы получить результат исследования, я выехала туда на посольской машине. Вел машину второй секретарь посольства Будник. Помню, день был выходной. На улицах — пустынно. Настроение — прекрасное. Ехали не торопясь. И вдруг увидели, что навстречу нам на большой скорости мчится машина. Прямо перед нами резко свернула в сторону. Мы заметили, что за рулем сидела женщина. Будник чертыхнулся и поехал еще медленней. Не успели мы прийти в себя, как та же машина на такой же сумасшедшей скорости протаранила нас с той стороны, где сидела я. Инстинктивно я закрыла лицо руками, услышала скрежет металла, звон стекла — и потеряла сознание.

Когда очнулась, сообразила, что лежу на сдвинутых стульях в каком-то кафе, окровавленная, в

разорванном платье. «Шок», — услышала чьи-то слова.

Тут же подъехала полицейская машина, она же — «скорая помощь». Мне дали какое-то лекарство, уложили на носилки и задвинули в машину. Потом я увидела Будника, услышала обрывки разговора на повышенных тонах. Будник говорил по-французски бегло, я понимала слабо, но все-таки разобрала, что меня хотят увезти в больницу. Будник категорически возражал. «Видимо, у него есть серьезные причины», — подумала я и опять впала в забытие.

Пришла в себя, когда уже приехали в посольство. От носилок отказалась, помнила инструкцию: полицейским находиться на территории посольства было не положено. С большим трудом я все-таки встала. Голова была чугунной, сильно поташнивало. Мне помогли добраться до своей квартиры. Когда с меня сняли платье, зрелище было удручающим: вся грудь в кровоточащих порезах. На правом бедре — рваная рана.

Осмотреть травмы пришел наш знакомый доктор Лякур. Он извлек из моего тела около ста осколков стекла, потом наложил повязки. Рекомендовал строгий постельный режим.

В тот же день меня навестил посол. Он сообщил, что часа два назад к нему обратились представители власти Парижа, выразили сожаление по поводу случившегося и предложили денежную компенсацию за мое увечье.

— Я категорически отказался, — сообщил Павлов. — Такого правила в инструкциях нет.

А я стала думать: кому же было выгодно убить меня? Ведь абсолютно ясно — то был таран именно на меня. Я терялась в догадках: кто, почему, зачем? Профессия у меня — самая гуманная, несущая доб-

ро и исцеление людям. Так, ни до чего путного не додумавшись, я задремала.

Все выяснилось позже.

— А ты знаешь, что в Париже проживает твой родной дядя — Андрей Афиногенович Трегубов? — сообщил мне работник посольства, некто Юрьев. — Да, да — Андрей Афиногенович Трегубов. Здесь, во Франции, он является членом Народно-трудового союза, НТС. Причем одним из его руководителей. Это очень серьезная антисоветская организация. Когда-то во главе НТС стоял небезызвестный Савинков.

Я не поверила своим ушам. Новость просто ошеломила. Но в голове тотчас пронеслось: «Не может быть. Если бы это было так, меня никогда не выпустили бы за границу. Никогда».

Я стала припоминать историю еще одного маминного брата, ведь все совпадало: и фамилия, и имя, и отчество.

Вспомнила рассказы мамы. Еще в первую мировую войну Андрей Трегубов воевал против Германии в составе русского экспедиционного корпуса, посланного во Францию. Он был даже награжден орденом «Почетного легиона». Когда началась война, дядя Андрей был уже женат. Жена Настя слыла красавицей, родила ему двоих детей. Третий появился уже в его отсутствие. В отличие от других маминных братьев был он грамотен, даже окончил гимназию в Тамбове.

Из нашего села Паревки в экспедиционный корпус отобрали всего двоих: дядю Андрея и его товарища. Они и воевали вместе, практически не разлучаясь. После войны друг дяди Андрея вернулся в Паревку, и уже с его слов мы узнали подлинную историю. Оказывается, в конце войны они попали в плен к немцам. Там им пришлось хватить лиха: над ними издевались, их били... Решили бежать. Но

все получилось неудачно. Немцы организовали погоню, стреляли. Дядя Андрей был ранен, упал и уже не шевелился

— Я не мог ему помочь, — рассказывал его однополчанин. — Немцы были совсем близко, я слышал яростный лай собак. Какая-то сила заставляла меня бежать дальше. Не знаю точно, убили Андрея сразу или он был еще жив...

Позже пришла весть, что Трегубов Андрей Афиногенович погиб на войне как герой Франции. Но полной уверенности не было. Ходили слухи, что дядя Андрей жив. Правда, слухи эти доходили только до мамы. Я толком ничего не знала. И все-таки... Теперь мне казалось возможным, что дядя Андрей был ранен и после выздоровления остался во Франции. Но верилось в это с трудом. Предательство было не в его характере. А потом... Он безумно любил жену и детей, чтобы оставить их навсегда. Так полагали все, кто его знал.

Оставалась единственная версия: Андрей Афиногенович Трегубов погиб, а его документами воспользовался, причем с далеко идущими целями, другой человек. Недаром он числился в рядах НТС. Когда я приехала во Францию, он испугался разоблачения. Меня решили убрать. Этой версии придерживался и муж. По своим каналам, еще до отъезда во Францию, он узнал, что в Париже живет человек с такой же фамилией, именем, отчеством. И даже год рождения совпадал. Думаю, муж знал что-то наверняка. Но мне сказал:

— Запомни, дяди Андрея для тебя нет.

Он даже поклялся, что это правда.

Припомнила я, что мама не очень хотела, чтобы я ехала во Францию.

— В любую другую страну, — говорила она, — но только не в эту.

Вспомнила и о смерти сына дяди Андрея, для всех совершенно неожиданной, в конце Отечественной войны. Его отравили, когда он служил в Прибалтике. Таинственным этим случаем занималась наша контрразведка, но расследование до конца доведено не было.

Сотрудники посольства выдвигали еще одну гипотезу. Вполне возможно, что я была неудобна французской или какой другой разведке. Ведь я лишила возможности бывшего доктора, эмигранта Ильина, свободно проникать в наше посольство, другие советские учреждения, а также в семьи их сотрудников. Не исключалось, что Ильин был агентом сразу нескольких разведок и использовал профессию врача для сбора различного рода сведений. Но я мало верила этим догадкам.

Ни к каким определенным выводам я так и не пришла, а потому бросила ломать себе голову.

САМОУБИЙСТВО В ПОСОЛЬСТВЕ

Прошла неделя после покушения на меня. Раны постепенно заживали. Правда, голова моя была еще тяжелой. К тому же побаливала правая ключица, только через несколько лет выяснилось, что там был перелом.

И вот в воскресное утро, в шесть утра, раздался телефонный звонок. Меня попросили срочно подняться на пятый этаж. Я знала, что там живет личный повар нашего посла вместе с женой. Жена служила в посольстве уборщицей. К ней меня и вызвали.

На постели я увидела стонущую женщину с явными признаками острого отравления. Ее губы и лицо казались фиолетовыми.

Муж-повар рассказал следующее. Рано утром он услышал, что жена ходит по комнате, но не придал этому значения и снова уснул. Когда проснулся, увидел жену на подоконнике, окно было распахнуто. Она готовилась выпрыгнуть. Он успел схватить ее за ночную сорочку. Женщина повисла снаружи. В тишине еще спящего города раздался ее истошный крик. Чудом ему удалось втянуть ее обратно в комнату.

Позже выяснилось, что женщина страдала шизофренией, о чем никто не догадывался. Ее странное поведение, некоторые отклонения в психике расценивались как безобидное чудачество. Я недоумевала: как могли проморгать такую болезнь в Союзе да еще дать визу на выезд за рубеж?

Жена повара решила свести счеты с жизнью. Выпила большое количество различных ядов. Причем хватала все, что попадалось под руку: нафталин, марганцовку, йод... Смотреть на нее было страшно. Я сделала все необходимое в таких случаях: инъекцию успокаивающих и сердечных лекарств, желудок промыла молоком. Женщина уснула.

Я понимала, что спасти больную вряд ли удастся: слишком большую дозу отравляющих веществ она приняла. Сказала о происшествии послу. Не знаю, какой разговор вел он со своими помощниками, но часа через три мне было приказано собираться в путь — сопровождать больную до Москвы. Я пыталась возражать:

— Она же нетранспортабельна! Психически нездоровый человек... Возможна непредсказуемость поведения. К тому же нарастает интоксикация... Ее нельзя никуда вести.

Но посол настоял на своем.

— Нельзя допустить, — доказывал он, — чтобы этот из ряда вон выходящий случай стал достояни-

ем определенных французских служб и прессы. Все будет истолковано против нас. Вы знаете, что произошло в советском посольстве в Америке? Там из окна выбросилась учительница... Не помню, то ли со второго, то ли с третьего этажа. Так ее просто подхватили сотрудники американской разведки, днем и ночью следившие за зданием посольства. Ее вынудили остаться в Америке. После выздоровления она стала работать на радиостанции «Голос Америки» и за хорошую плату поливала свою страну Бог знает как. В частности, попытку самоубийства она трактовала как акт протеста против режима. Твердила об издевательствах над ней и прочая. Не забываете, идет «холодная война».

Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться распоряжению посла. В спешке как-то забыла про свои собственные травмы.

Задание было непростым. Прежде всего я должна была сделать так, чтобы ни в аэропорту, ни в самолете никто не заметил состояния моей больной. Полет прошел благополучно. Правда, когда самолет стал снижаться над Восточным Берлином, я ненадолго потеряла сознание. Немудрено: после сотрясения мозга прошло всего семь дней.

В Берлине нас ждала машина с представителем советского посольства. Конечно, там уже знали, кого я сопровождаю, и заранее подстраховались. Нас поместили в полуподвальное помещение. Мало того, какой-то умник запер дверь на ключ. Мы обе крепко уснули. Моя подопечная — после успокаивающего укола, я — от переутомления. Около трех часов ночи нас разбудила стрельба. «Неужели война?» — ужаснулась я.

Но вскоре все стихло. Я начала барабанить в дверь — никто не откликнулся. Моя пациентка, бледная, задыхающаяся, металась по комнате, с трудом

передвигая ноги. Пришлось снова делать ей успокаивающий укол.

О нас вспомнили только в полдень. Открыли дверь, стали извиняться. Потом посадили в самолет на Москву. И только в самолете сопровождавший нас человек объяснил, что же произошло ночью в Берлине. По его словам, западные немцы пытались перейти границу Восточного сектора. Пограничники вынуждены были открыть огонь. А спустя время между Западным и Восточным Берлином была воздвигнута железобетонная стена.

В Москве мою пациентку уже ждали. С небывалой поспешностью люди в белых халатах подхватили женщину и поместили в машину «скорой помощи». Я была возмущена: мне даже не дали попрощаться с ней, не поинтересовались подробностями заболевания и даже не сообщили, в какую лечебницу ее направляют. Только на следующий день я узнала, что увезли мою пациентку в психиатрическую больницу имени Соловьева. Состояние ее было крайне тяжелым. Через трое суток она умерла.

НЕЗНАКОМКИ С ПОРТРЕТА КРАМСКОГО

В последний год жизни в Париже мы часто ходили по музеям, картинным галереям, ездили за город. Побывали в знаменитом Лувре. Любовались собором Парижской Богоматери, знакомым по романам Виктора Гюго. Бродили по Латинскому кварталу и набережным Сены... Все было интересно! Случалось встречаться и с русскими эмигрантами.

Однажды, гуляя по парижским улочкам, заглянули в небольшой магазинчик с русским названием. Хотели купить нашу копченую колбасу и еще что-нибудь отечественное. Продавцами оказались

эмигранты из России. Встретили нас радушно, предложили все самое лучшее. Они уже упаковывали наши покупки, когда открылась дверь и на пороге появилась старая дама, в весьма поношенном, но элегантном костюме. В руках она держала потерянный ридикюль с какой-то диковинной, блестящей отделкой. На голове, которую она старалась держать очень прямо, была старинная шляпа с поникшими страусовыми перьями.

Продавец устремился к ней навстречу со словами: — Милости просим, княгиня! Рады вас видеть.

Он бережно проводил ее до прилавка. Потом быстрым движением смахнул в ее открытый ридикюль обрезки колбасы. Уходя, княгиня долго его благодарила...

Запомнилась и другая встреча. По врачебным делам я оказалась в нашем консульском отделе. Со мной был милый человек — Михаил Михайлович Юрьев. Он работал в посольстве, но имел отношение и к консульскому отделу, а потому был знаком со многими эмигрантами. Многие приходили сюда за документами, разрешающими въезд в Советский Союз. В основном это были женщины — немолодые, печальные, скромно одетые.

Одна из них в одиночестве стояла у окна. Я долго смотрела на нее, что-то неуловимо знакомое чудилось мне в ее облике... Несмотря на возраст, женщина была очень хороша: темные большие глаза, слегка опущенные веки, гордая вскинутая голова... Михаил Михайлович познакомил нас и с любопытством наблюдал за обеими. Я была младше, да и одета несравненно лучше. Помню, на мне был любимый черный костюм с бархатным воротничком, черные замшевые туфли на высоком каблуке и шляпа из черного бархата с розовыми страусиными перьями. Женщина повернулась в полупрофиль — и я

поняла, на кого она похожа... На «Незнакомку» Крамского!

В Москве, бывая в Третьяковской галерее, — благо она напротив моего дома, — я подолгу любовалась портретом этой загадочной женщины. Он прямо-таки притягивал к себе.

— А знаешь, ты чем-то похожа на эту «незнакомку», — сказал однажды мой дядя, стоявший рядом.

То же самое сказал в Париже Михаил Михайлович, когда я стояла подле парижской незнакомки:

— Вы обе будто сошли с полотна Крамского... Очень похожи, как будто двойники.

«Ничего себе, двойники, — подумала я. — Девочка из бедной крестьянской семьи... И потомственная аристократка».

И еще один случай. На этот раз я ехала из консульства в посольство вместе с нашим военным атташе, генералом Зверевым. Ехали на такси. Путь был длинным, чуть ли не через весь Париж. За разговорами не заметили, как машина остановилась прямо у входа в посольство. Таксист, пожилой человек, с благородной внешностью, вышел из машины, чтобы помочь мне. Генерал собирался расплачиваться. И вдруг таксист признался, что, неволью слыша наш разговор, понял, что мы из России. Потом посмотрел на генеральскую форму Зверева и сказал с горькой усмешкой:

— Никогда не думал, что я, генерал царской армии, буду когда-нибудь везти советского генерала.

Наш военный атташе как будто смутился. Потом улыбнулся и горячо пожал руку бывшему царскому генералу. За услуги Зверев заплатил в три раза больше, чем было на счетчике. Таксист поблагодарил, но деньги принял с достоинством. На глазах его показались слезы. Он так и стоял у своей машины, пока мы не скрылись за дверями посольства.

ДОКТОР ЛЯКУР И ПОСОЛ ПАВЛОВ

Срок нашего пребывания в Париже подходил к концу.

Однажды воскресным вечером мы с мужем были приглашены в гости к доктору Лякуру. Это было знаком особого расположения. Надо сказать, что у французов не очень принято приглашать гостей домой. Встречи назначаются в кафе, ресторанах, причем, как правило, каждый расплачивается за себя сам. Как говорится, дружба — дружбой, а табачок — врозь. Удивило меня, что во Франции считается нормальным, когда взрослые дети оплачивают обед у родителей.

Мы же попали в «настоящие гости». Все располагало к откровенной беседе: и приветливость хозяев, и знаменитые французские вина, и прекрасно сервированный стол, и тонкая французская кухня... Говорили о медицине, о падении рождаемости во Франции. Лякур сокрушался, что детей рождается все меньше и меньше, что процесс этот принимает угрожающий характер. Говорил, какие меры принимает правительство для повышения рождаемости: на каждого ребенка выделяется пособие, и размер его таков, что родители троих детей могут безбедно на него жить, не заботясь о трудоустройстве. Кроме того, во Франции много женских и детских консультаций, осуществляется медицинский патронаж. И все это, разумеется, бесплатно.

— Такая политика уже дает свои плоды, — закончил доктор с улыбкой...

Естественно, что в ответ я с гордостью рассказывала, как обстоят дела с охраной материнства и младенчества в Советском Союзе.

Потом заговорили о хирургии.

— Я бы пропел оду русским хирургам, — сказал

Лякур. — Особенно их рукам. Взять хотя бы ваши руки, мадам. Это же — живой совершенный инструмент! И это признают во всем мире.

Похвала французского доктора была приятна. Я вспомнила, что подобные комплименты слышала от японского врача... Но про себя подумала: «Этому совершенному «инструменту» не помешали бы другие — настоящие высококачественные хирургические инструменты и аппаратура». И с обидой вспомнила, с какими трудами добывала иглы для Бакулева и Петровского.

День отъезда все приближался. Я уже мечтала о возвращении домой. Но посол Павлов не спешил отпускать меня. Отношения наши были непростыми. Поначалу он произвел на меня хорошее впечатление: умен, правдив, смел, элегантен. Потом я убедилась, что частенько он был несправедлив и придирчив. Взять хотя бы историю с домашним арестом! Но, видимо, я устраивала его семью как лечащий врач. Под конец командировки вдруг выяснилось, что года за два до отъезда во Францию я оперировала Павлова в Кремлевской больнице. Почему-то он напомнил об этом только сейчас. Я же его лицо забыла. Может быть, потому, что в Париже он носил бороду, которая, на мой взгляд, уродовала его довольно красивое лицо. К тому же по тогдашним временам она не соответствовала, как теперь говорят, имиджу дипломата.

Разочарование вызвал и один непредвиденный случай. Павлов пригласил нас с мужем прокатиться по Парижу. А именно в тот день студенты праздновали окончание учебного года. Как это принято во Франции, они всячески развлекались: свободно шествовали по центральным улицам города, заходили в кафе и рестораны, где ели и пили бесплатно. Кроме того, студенты безнаказанно могли и побезоб-

разничать: опрокидывали столы и стулья в кафе, переворачивали машины... В этот день им позволялось буквально все.

И надо же было очутиться на пути гуляющих студентов советской машине! Нас весело остановили, попросили выйти. Мы поняли, что ждет впереди. В нескольких шагах валялись перевернутые вверх колесами машины. Я была уверена, что нас не тронут. Красный флажок на капоте автомобиля указывал, что едет не кто иной, как посол Советского Союза. Думаю, что студенты узнали и самого посла — по характерной бородке. Действительно, после небольшого замешательства нам дали «зеленую улицу».

Но что случилось с самим Павловым? На него жалко было смотреть. Куда девалась его гордая осанка, всегдашняя самоуверенность? Он суетился, что-то просительно лепетал...

«И это наш посол!» — с горечью подумала я.

Наконец, наступил день нашего отъезда. Чтобы оставить о себе память на прекрасной земле Франции, в садике у посольства я посадила серебристую ель.

На вокзале нас провожало много людей. В последний момент появился и сам посол, хотя по дипломатическому протоколу в его обязанности это не входило. Мы обнялись и распрощались навсегда.

УКРАЛИ ТРУСЫ...

Дома, в России, первым делом захотелось забраться в глубинку, чтобы подышать по-настоящему чистым воздухом, увидеть милые сердцу пейзажи. Всем большим семейством отправились на Рязанщину, в есенинские места, в городок Спасск.

Природа средней полосы радовала глаз. Но после жизни во Франции были особенно заметны убогость и бедность окружающих селений.

Погода была жаркой, и мы решили искупаться в Оке. На берегу резвились деревенские детишки. Увидев наших, городских, да к тому же хорошо одетых ребят, они сбились в кучу и притихли. Но уже через несколько минут дети, все вместе, бегали, кувыркались, плескались в воде...

Когда мы вдоволь наплавались и вышли на берег, обнаружилось, что вся наша одежда, вплоть до трусов, пропала. Вот так незадача! Погоревали немного и собрались уходить в купальниках, благо было тепло. Как вдруг увидели бегущего по берегу мальчика, лет пяти, в широких и длинных не по росту трусах. Не успели сказать и слова, как маленькая Люба сообразила, что трусы на мальчике — явно папины. Она помчалась вслед за ним, догнала, вцепилась ручонками в трусы и стала их стаскивать, приговаривая:

— Отдай папины трусы. Отдай папины трусы.

Бедняга мальчуган испугался, заплакал. Но за трусы держался крепко, не собираясь с ними расставаться. Подбежали взрослые. Выяснилось, что на мальчугане трусы были собственные, а вовсе не нашего папы. Малыша успокоили, но теперь уже в голос ревела Люба! Мы же давно не хохотали так легко и самозабвенно! Еще бы... Наконец-то мы в своей стихии, на родной земле.

ДОМ В ЛАВРУШИНСКОМ

ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ НАШЕЙ КВАРТИРЫ

Этот дом всегда казался мне громадой. Особенно когда переехали сюда из Подмосковья в 39-м. Масивное серое здание располагалось как раз напротив Третьяковской галереи и возвышалось над Замоскворечьем. Из окон последних этажей видны были Москва-река и Кремль. Дом был только что построен для советских писателей.

Я уже знала, что здесь жил и умер Антон Семенович Макаренко — автор знаменитой «Педагогической поэмы».

Зимние месяцы проводил в этом доме Михаил Пришвин, чьи рассказы о природе я читала детям. Говорили и о Константине Треневе, который тоже жил в Лаврушинском. Его пьесу «Любовь Яровая» я смотрела в театре. Неужели я воочию увижу всех этих знаменитых людей и даже стану их соседкой? Сердце мое замирало...

Поразило меня и внутреннее убранство дома. Парадные лестницы, старинные люстры, дубовый паркет. Квартиры были однотипные: три комнаты и еще маленькая — для прислуги.

Когда мы въехали в новую квартиру на седьмом этаже, одна комната была закрыта на замок. Выяснилось, что прежде квартиру занимал Иван Капитонович Луппол, человек из окружения Алексея Максимовича Горького. После смерти Горького он стал организатором и директором музея

писателя в Москве. Одна из комнат и была занята библиотекой бывшего хозяина. Нас это нисколько не смутило. Несказанно были рады и двум комнатам.

Буквально через несколько дней после переезда появилась жена Луппола — Мария Евгеньевна. Рассказала, что мужа ее арестовали, она же не имеет своего угла и скитается по знакомым. Мы посочувствовали ее бедам и предложили временно пожить в пустой комнате, которую уже освободили от книг. Разумеется, без прописки, нелегально. Она с радостью согласилась. Мы и думать не думали, что совсем скоро пожалеем о своем порыве.

Не знаю, каким образом, но без нашего ведома Мария Евгеньевна незаконно оформила одну из больших комнат на себя. Ради сохранения добрососедских отношений, мы не роптали. Вскоре в своей комнате она поселила молодого любовника. По странному стечению обстоятельств, он оказался бывшим воспитанником колонии Антона Семеновича Макаренко, который к этому времени уже умер. Правда, связь свою соседка держала в тайне. Но, как известно, мир слухами полнится... Одним словом, Мария Евгеньевна казалась нам женщиной властной и непредсказуемой.

Постепенно мы стали обживать в новом доме. Жильцы уже знали, что по профессии я — врач, обращались за помощью.

Однажды заболел наш сосед Виктор Григорьевич Финк. Я пришла его навестить. С этого дня началась наша дружба. От него я и услышала леденящую душу историю о бывших хозяевах нашей квартиры. Описываю ее так, как услышала от Финка.

— История трагическая, — рассказывал Виктор Григорьевич. — Вы, должно быть, знаете, что у Алексея Максимовича Горького был сын, Максим Пеш-

ков, который умер при загадочных обстоятельствах. У него была красавица жена, все звали ее Тимошей. Иван Капитонович Луппол, муж Марии Евгеньевны, влюбился в нее безумно. Жена, разумеется, узнала и решила отомстить. За Лупполом была закреплена машина и постоянный шофер, которому он доверял. Мария Евгеньевна решила воспользоваться ситуацией. Она сблизилась с шофером, мало-помалу стала черпать у него нужную информацию. А вскоре — и писать доносы на собственного мужа. А тут неожиданно умирает Максим Пешков. По одной из версий, причиной его преждевременной смерти было умышленное отравление. Подозрение пало именно на Луппола, чему немало поспособствовала Мария Евгеньевна. Короче, — закончил свой рассказ Финк, — она его и отдала в руки НКВД. Ивана Капитоновича арестовали, судили и сослали в Сибирь. Там он вскоре и умер.

После войны из Чебоксар приехала моя мама с детьми. Нас было уже пятеро, не считая няни для младшей дочери Любочки, которая родилась в 49-м...

С Марией Евгеньевной мы прососедействовали лет двадцать. Она все надеялась заполучить свою квартиру назад. Но даже после реабилитации мужа ей ничего не вернули. Думаю, она и не хлопотала особенно, боясь разоблачений. Ведь уже после смерти Сталина стали обнародовать имена доносчиков. Зачем ей было рисковать?

В начале 60-х соседка тяжело заболела. Молодой любовник из колонии Макаренко бросил ее, так и не дождавшись обещанной прописки. Марию Евгеньевну положили в больницу, откуда она уже не вышла. Наша семья заняла, наконец, всю квартиру.

НЕЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Чего-чего, а тишины и покоя в нашей квартире не было никогда. Вечно толпились родственники, друзья детей. Кто-то приезжал, кто-то уезжал. Особое оживление наступало, когда из Тульского суворовского училища приезжал наш воспитанник, он же племянник Саша. Как правило, он приводил за собой ватагу товарищей, прибывших в Москву для участия в военном параде на Красной площади. Обычно человек двадцать суворовцев вваливалось в нашу квартиру. В доме их уже ждал по-праздничному накрытый стол: порожки, салаты, холодец, рыба... Потом подавалось что-нибудь горячее и обязательно сладкое и чай. Я старалась побаловать ребят, ведь у большинства из них отцы погибли на фронте.

Однажды ребята заявили с подарком от друзей-нахимовцев. Что за подарок, никто не знал. Решили посмотреть, отправившись зачем-то в ванную, да и еще прихватив с собой собаку.

Через несколько секунд в ванной раздался взрыв и повалил густой дым. Первой, дрожа всем туловищем, выскочила собака и стремглав бросилась на балкон. Потом стали выбегать мальчишки. Саша пытался пожар потушить: открыл краны с водой. Но огонь разгорался, а дым выедал глаза. Оказалось, нахимовцы решили подшутить над суворовцами и послали в подарок дымовые шашки. То-то было смеху! Чуть не сгорели...

В другое прекрасное утро, вскоре после возвращения из Франции, в квартире раздался звонок. В этот день никого не ждали. Накинув халат, я пошла открывать.

На пороге стоял пожилой человек с седыми, кудрявыми волосами, морщинистым лицом и темны-

ми, печальными глазами. Руки его слегка дрожали. Не знаю почему, но я сразу почувствовала, что это — отец. Мой отец, которого я не видела почти сорок лет.

Несколько минут мы молча смотрели друг на друга, потом он произнес: «Прости».

Что творилось в моей душе, объяснить трудно. Ведь я была уверена, что отца давно уже нет в живых. И вот он стоит передо мной... Забыв обиды и не задавая вопросов, я на секунду прижалась к его груди... Потом пригласила в дом. Он вошел, но продолжал стоять, словно онемев. Еще бы! Перед ним стояла не худенькая девчушка, которую он видел последний раз в Паревке, а взрослая красивая дама — благополучная и счастливая, судя по большой, богато обставленной квартире, блистающей к тому же безукоризненной чистотой.

Почему-то мне стало безумно жалко этого человека — моего отца. Он прожил у нас неделю, много пил, плакал и каялся. Рассказывал подробности о втором браке, где у него было уже трое взрослых детей. Но счастлив отец не был. Новая жена, по его словам, оказалась настоящим жандармом в семье. Но самое печальное — она постоянно угрожала, что выдаст отца гэбэшникам, если он вздумает от нее уйти. Страх разоблачения не отпускал его ни на минуту.

— Я же жил под чужим именем, — признался отец. — Взял имя своего брата Павла...

Я что-то слышала об этой истории от родственников, но до конца не верила.

Через семь дней отец вернулся в Белгород, где жил теперь. А через какое-то время пришло письмо от его дочери. Она сообщала, что вот уже два месяца, как отца парализовало, что вся семья выбилась из сил, и спрашивала, нельзя ли его положить в ка-

кую-нибудь больницу. Мол, мне, врачу Кремлевской больницы, сделать это несложно.

«Всего неделю этот человек был моим отцом, — подумала я. — А в той семье прожил сорок лет... И теперь — старый и больной стал лишним».

Я все сделала, чтобы помочь ему. Написала на бланке Кремлевской больницы к главному врачу Белгорода с просьбой госпитализировать отца. Отца положили в больницу, даже выделили отдельную палату. В больнице он вскоре и умер.

С мамой они так и не встретились. Когда отец был в Москве, она еще лежала в больнице после несчастного случая. Я не хотела ее волновать. Мне казалось, она всю жизнь любила его одного...

А У НАС ВО ДВОРЕ...

Писательский дом в Лаврушинском по престижности мог сравниться разве что со знаменитым правительственным домом на набережной, описанным Юрием Трифоновым. Здесь предоставляли квартиры только тем, кто имел большие заслуги перед литературой и государством. Это были особо привилегированные писатели. Во всяком случае, так мне казалось. В Лаврушинском жили Владимир Луговской, Илья Сельвинский, Константин Паустовский, Николай Погодин, Вениамин Каверин, Валентин Катаев, Маргарита Алигер, Агния Барто, Павел Нилин, Константин Федин, Степан Щипачев, Михаил Бубеннов. Всех не перечесать...

Многие из них имели литфондовские дачи в Переделкине — это тоже считалось знаком особого отличия. Некоторые были прикреплены к Кремлевской спецполиклинике и больнице, к «цековской» столовой и спецраспределителю, в котором прекрас-

ные продукты, недоступные простым смертным, оплачивались наполовину. Одним словом, дом был элитный, живший особой жизнью, скрытой от посторонних глаз...

Во дворе был разбит красивый, всегда ухоженный сквер. Дети гуляли с няньками. В детский сад почти никого не отдавали. Но рядом с нашим домом стояли деревянные бараки, построенные еще во время войны. В основном в них жили татары — люди бедные. Дети напоминали голодных волчат. Писательским чадам с ними играть не разрешали.

У нас тоже была няня и домработница одновременно — Евдокия Ивановна. Дети звали ее бабой Дуней. Практически она была членом нашей семьи. Дочь Люба говорит, что она уже в детстве, живя в доме в Лаврушинском, поняла, что существует неравенство. В писательских семьях, как правило, было по две домработницы. Многие писательские семьи уговаривали бабу Дуню перейти к ним, сулили ей большие деньги. Но она до конца своих дней оставалась с нами. Водила Любу в музыкальную школу, когда ей еще не было и пяти лет. Баба Дуня была безграмотной, но записывала за педагогом все ноты и пыталась объяснить Любе.

Конечно, я мало уделяла внимания детям. Дни и ночи проводила в больнице. Когда Люба говорит сегодня, что мы тоже относились к элите, я возражаю:

— Я и твой отец — мы всегда очень много работали. Мы всего добились сами. Вспомни, я и дома работала, приходя из больницы: или шила, или вышивала. Руки разрабатывала. Ведь я же хирург...

— Да брось, мама, — твердит свое Люба. — А школа французская, куда меня отдали учиться? А Институт международных отношений? Проректором по кадрам работал там лучший папин друг!!

— И все-таки мы жили не так, как писатели. Вспомни! — опять не соглашаюсь я. — С соседями по дому особенно не общались. Нашу семью побаивались. Знали, что Вячеслав Васильевич работает в КГБ.

— Мой отец был единственным человеком из КГБ в этом доме. Когда выходил со мной на прогулку, обычно говорил: «Люба, запомни: здесь водится вредное растение по имени Пастернак...»

Да, двор, в котором можно было увидеть Бориса Пастернака, выносящего мусорное ведро, обычным не назовешь. Помню, поэт Семен Кирсанов прогуливал собаку... Всегда вежливо раскланивался Вениамин Александрович Каверин — автор знаменитого романа «Два капитана»...

Жили в нашем доме и просто энергичные литераторы, имеющие заслуги в основном перед собственной семьей. Их имена мало что говорили читателю. Сейчас мне кажется, что эти люди прежде всего и влияли на атмосферу в доме.

Иногда я называла этот дом «домом ненависти». Хвалить какого-нибудь писателя в присутствии другого считалось непростительным. Собеседник тут же отворачивался или менял тему разговора. А то и вовсе спешил уйти. Мне казалось, что все писатели враждуют между собой. И основой этой вражды была даже не творческая, а обыкновенная человеческая зависть. Ссоры и размолвки возникали, на мой взгляд, из-за сущей ерунды. Это могла быть изданная книга, полученная премия, путевка в Дом творчества, литфондовая дача. И все, что угодно, из сферы материальных благ.

Больше всего удивляло, что все эти люди были хорошо обеспечены. Ведь это были советские времена, когда фигура писателя всячески поднималась на пьедестал. Гонорары в те времена были боль-

шие, к тому же особо отмеченным мастерам слова платили по высшей ставке.

Порой мне казалось, что лучше и не знать никогда авторов знаменитых книг. Иначе постигнет разочарование...

ЖЕНЫ И ДЕТИ

Особую жизнь вели и жены писателей. Никто из них, как правило, не работал. В окололитературных кругах их называли «жёписами». Было принято, что женщина, вышедшая замуж за писателя, должна всю себя, без остатка, посвящать мужу: создавать ему условия для работы, воспитывать детей, заниматься хозяйством. Мало того, жена-домохозяйка считала необходимым присутствие домработницы, а иногда и сразу двух. Я не понимала такой жизни. Не раз замечала, что избыток свободного времени далеко не всем «жёписам» шел на пользу: дни они проводили в светской болтовне, в досужих сплетнях и интригах. Причем часто вовлекали в эти интриги мужей, и даже детей...

Писательские дети тоже принадлежали к элите. Как правило, они получали хорошее воспитание. Но на мой взгляд, в большинстве случаев это были трудные дети. Подчеркиваю: не все, но в большинстве. Их ли в этом вина? Думаю, нет. Скорее — родителей. Вообразите: отец всегда находился дома, прислуга всегда освобождала дочь, сына от всяких обязанностей и забот. Лето всей семьей проводили в домах творчества — в Переделкине или на море, в Коктебеле, Пицунде... Мне кажется, что у ребенка, растущего в такой семье, с малых лет создавалась иллюзия, что можно жить роскошно, не делая ровным счетом ничего.

Вы спросите: к чему эти нравоучения? Не есть ли это просто старческое брюзжание?

Думаю, нет. Как врач, я видела много болезней и смертей. Убеждена, что жизнь на всем готовом размагничивает человека, делает его менее жизнестойким. Так происходило со многими писательскими детками... Любое препятствие казалось им непреодолимым, да они и не хотели его преодолевать. У многих были проблемы со школой. В те годы филологическое образование считалось очень престижным. Писательские детки, как правило, учились в вузах, учитывая академические отпуска по разным поводам, по семь-восемь лет.

Они рано начинали заводить романы, непомерно пить и даже употреблять наркотики. Также рано женились или выходили замуж... Причем чаще всего приводили своих избранников непременно в родительский дом. Ничто не менялось, жизнь шла по прежнему кругу: домработницы, дома творчества, Пицунда, Гагры... Короче говоря, полное иждивение и лучи родительской славы...

Прожив около сорока лет в писательском доме, я была невольным свидетелем многих трагедий... И чаще всего трагические ситуации возникали у молодых...

ДРАМЫ И ТРАГЕДИИ

Иногда мне кажется, что писателям, живущим в нашем доме, и сюжеты не надо было выдумывать. Выйди за дверь, посмотри в окно, прислушайся к шуму за стенами — вот и материал для романа или повести...

Драмы случались разные — творческие, бытовые, но чаще — любовные. Исход иных был роковым.

Помню, из-за любви покончили с собой, совсем

юные, сын замечательного поэта Александра Яшина и дочь прозаика Федора Кнорре.

Стихи самого Александра Яшина любили в нашей семье. Некоторые строчки о природе я даже знала наизусть и часто повторяла. Хотя бы вот эти: «Высокомерие не к лицу — ни великану, ни мудрецу... В сосновом бору и березовой роще, где так многогранно хочется жить, мне, сильному — только добрее, и проще, и человечнее хочется быть...»

Жил в нашем доме сын Константина Паустовского — Алеша. Он был художником. И вот однажды... выбросился из окна. Ему было двадцать два года! Слышала, что его жена впоследствии написала повесть о своей жизни с Алешой.

Трагедий было немало. Одну запомнила особенно отчетливо.

Как-то летом мы возвращались с мужем на машине со своей дачи. Уже подъехали к арке, ведущей во двор, как вдруг услышали странный шум: казалось, что сверху упало что-то тяжелое. Мы остановились, выскочили из машины.

Жуткое зрелище предстало нашим глазам: на тротуаре, в луже крови, лежала женщина. По всем признакам она была мертва. Скорее всего, выбросилась из окна верхнего этажа.

Я побежала к милиционеру, охранявшему Третьяковскую галерею... Но он отказался покинуть свой пост: дескать, не имею права. Я прикинула, в каком подъезде жила эта несчастная... Вспомнила, что там расположена квартира писателя Михаила Бубеннова, с семьей которого мы дружили. Ворвалась к нему, в двух словах описала случившееся. Уже вместе мы побежали по этажам и стали лихорадочно звонить во все квартиры.

«Лев Ошанин» — было написано на одной из дверей. На наш звонок вышла домработница. Услы-

шав ужасную новость, заверила, что у них все в порядке. Мы бросились дальше по этажам. Никакого результата. Интуитивно я опять спустилась к квартире Ошаниных. Снова стали звонить в дверь. На этот раз домработница встревожилась. Бросилась в спальню, в столовую — хозяйки нигде не было. Мы следовали за ней. И вдруг увидели — окно! Окно в спальне было распахнуто настежь... Значит, она, жена Ошанина.

Захлебываясь слезами, домработница рассказала, что хозяйкой ее была писательница Елена Борисовна Успенская, внучка Глеба Успенского, что Ошанин ушел от нее к другой женщине...

А в это утро он появился с молодой женой — забрать какие-то вещи. Разразился бурный скандал. После их ухода Елена Борисовна металась по квартире. Потом принялась за спиртное... Но кто мог предположить, что все закончится таким страшным образом?

Я посмотрела в распахнутое окно. Это был девятый этаж. «Скорая помощь» уже увозила безжизненное тело.

...А Лев Ошанин женился еще не один раз. Со всем недавно узнала о его смерти. Газеты писали, что умер он в одиночестве...

Сейчас мне кажется, что семейные неурядицы, страсти, измены, пьяные скандалы наполняли наш дом постоянно... В то же время случались трагедии прямо-таки шекспировского масштаба. Одну я так и называла про себя: «Ромео и Джульетта».

История нелепая и ужасная. Жил в нашем доме писатель Л. Была у него любимая жена, и больше никого. Детей не случилось. Супруги жили в согласии много лет. Но вот заболели... Лечились в нашей спецполиклинике. И вот, в один невеселый день врачи поставили Л. диагноз — рак. Он не хотел уми-

рать долго и мучительно. Решил покончить с собой. Сообщил о своем решении жене. Она же не мыслила своей жизни без любимого мужа. Отравились вместе.

И что же? Когда после смерти производилось вскрытие, выяснилось, что диагноз был ошибочным. Муж был здоров. Но рак обнаружили у жены.

Похоронили супругов вместе. В доме сплетничали, что все свое имущество они завещали домработнице...

ЮРИЙ ОЛЕША И ТРИ «Я»

Я знала, что в нашем доме живет Юрий Карлович Олеша — автор «Трех толстяков» и «Зависти». Позднее была издана и его последняя книга «Ни дня без строчки». С самим же автором познакомиться мне не довелось.

Однажды я стояла за молоком в длиннющей очереди. Ох уж эти очереди! Сегодня о них забыли. Но как же они раздражали, выматывали душу! Сколько времени мы проводили в этих очередях! А что поделаешь? Семью, маленьких детей надо было кормить.

И вот очередь... Сзади подходят люди, занимают за мной, потом отходят, предупреждая, что они здесь стоят... Часто не возвращаются. Все это нервирует. Вот опять какой-то мужчина задает осточертевший вопрос:

— Вы последняя?

Не оборачиваясь, чуть не кричу:

— Я, я, я!!

— Почему три «я», а не одно?

Реакция была неожиданной, я обернулась и с интересом посмотрела на мужчину. Лицо его показалось знакомым.

«Кажется, он живет в нашем доме», — подумала я. Мне стало неловко за свою несдержанность, и я пробормотала извинения.

Так мы познакомились, это был Олеша. Потом не раз встречала Юрия Карловича во дворе или около дома... Он всегда был один, к тому же нетрезв и скверно одет. Мы стали раскланиваться.

Оригинальный писатель, Юрий Карлович и человек был неординарным, тонким, с редким чувством юмора и острым умом. Мне было жалко, что он пропадает. Однажды по праву врача я упрекнула его:

— Что за варварское отношение к своему здоровью, Юрий Карлович? Вы погибнете...

— А, пустяки, — ответил он.

— Давайте я полечу вас гипнозом? Вы знаете, я ведь училась...

Олеша вроде бы заинтересовался. Потом махнул рукой.

— Нет, мне уже ничто не поможет. — И добавил с улыбкой: — Ни дня — без строчки и ни дня без вина!

Как врач, я, увы, понимала, что болезнь его зашла слишком далеко и он уже не волен над собой.

...Через некоторое время узнала горестную весть. Какой-то человек обнаружил Олешу в луже мертвым — он захлебнулся.

РАЗГОВОРЫ НА СКАМЕЙКЕ

Разговоры со знаменитыми писателями обычно заводились на скамейке в нашем скверике. В редкие свободные часы я выходила туда с вязанием или вышивкой.

Вениамин Александрович Каверин почти все время жил на даче, в Переделкине. В Лаврушинском

появлялся редко. Был элегантен, подтянут, вежлив. Однажды, сидя на лавочке в сквере, разговорился со мной:

— Вы ведь живете в квартире, в которой жил секретарь Горького? А знаете, у меня хранится много писем Алексея Максимовича...

Я слушала с интересом. Потом неожиданно спросила:

— Вениамин Александрович, а когда вы начали писать?

— О, это было давно... Я родился в Пскове, а потом приехал в Ленинград... А с первым моим рассказом была такая история. Я тогда учился в Ленинградском университете и должен был сдавать курс логики профессору Ложскому. А меня очень интересовала неевклидова геометрия Лобачевского... Вы представляете, что это такое?

— С трудом, — ответила я.

— По этой теории параллельные линии пересекаются в пространстве. И вот после экзаменов, проходя мимо Дома литераторов, я увидел объявление о конкурсе начинающих писателей. Я решил написать рассказ. Пришел домой. Взял лист бумаги, расчертил его на две половины. На одной половине стал писать историю студента, моего ровесника, живущего в двадцатые годы. Студент проигрывается в карты и хочет уйти в монастырь. На другой стороне я написал историю монаха, живущего в семнадцатом веке. Монах, напротив, порывает с религией и уходит в мир. Но самое интересное, что я заставил своих героев встретиться на берегах Невы. Представляете? То есть сделать то, что доказывал Лобачевский своей теорией...

Не дав мне сказать и слова, Каверин вежливо попрощался и ушел в дом.



С. П. Королев.
Он еще лежал на операционном столе,
когда сердце внезапно остановилось...



А. Т. Твардовский был уверен, что врачи ему не помогут...



М. А. Шолохов в шутку, конечно, называл себя
«самым дисциплинированным больным»



Расул Гамзатов.
Все врачи и сестры любили слушать его байки



«Я потому и живу так долго, что ничего не слышу», — говорила
Мариэтта Шагинян



Агния Барто.

Ее сын погиб, выезжая на велосипеде из нашего двора...



Писатель М. Бубенов.

После войны все зачитывались его романом «Белая береза»



Петр Алейников.
Друзья принесли ему букет в вазе, наполненной коньяком



«Эти цветы для нашего друга», —
сказал артист Николай Крючков



Леонид Соболев страстно любил море.
Сам себя называл гардемаринном

С Валентином Петровичем Катаевым я тоже была знакома коротко. Он казался заносчивым и высокомерным. Еще бы! Слава его гремела. Читали «Траву забвения» и «Святой колодец». А все дети знали чуть ни наизусть «Белеет парус одинокий» и «Сына полка».

Однажды он остановил меня, когда я по каким-то делам выходила из подъезда. Он тоже любил сидеть в нашем скверике.

— Посидите, Прасковья Николаевна, куда вы все спешите... Посидите... Вон дочка ваша с няней гуляет...

— Да некогда мне сидеть, Валентин Петрович, — сказала я. — Работа такая... Это вы, писатели, все дома сидите...

— Не скажите... Наши профессии схожи. Вы лечите тело, а мы врачуем душу... Знаете, сколько писем мне приходит от совсем незнакомых людей.

— Ну, мне писем не пишут, — пошутила я. — Все больше подарки дарят.

В другой раз я сидела на скамейке и что-то вязала, сосредоточенно подсчитывая петли.

Катаев присел рядом, поздоровался и сказал, глядя на мою пряжу:

— А вы слышали, Прасковья Николаевна, миф об Ариадне?

— Нет, — ответила я. — Расскажите...

— Ариадна — греческая богиня. Она была дочерью критского царя Миноса, внучкой бога солнца Гелиоса. Ариадна влюбилась в юного героя Тесея — сына бога Посейдона. Не буду рассказывать всех перипетий этого мифа. Но однажды Тесей был заключен в лабиринт на острове Крит. В лабиринте обитал Минотавр — чудовище в виде человекобыка. И

что же придумала Ариадна, чтобы спасти возлюбленного? Она дала Тесею клубок ниток. Разматывая его, он нашел выход из лабиринта. Отсюда появилось выражение «нить Ариадны»...

Катаев засмеялся. Потом посмотрел на мое вязание и ехидно добавил:

— Вот вы все вяжете да вышиваете... У вас тоже, наверное, есть волшебная нить? Кому клубочек подарите?

— Ох, Валентин Петрович, — вздохнула я, подыгрывая писателю. — Наверное, это мне добрая колдунья подкинула волшебный клубочек. Ведь я из деревни. А вот стала врачом, живу в писательском доме.

— И все тянется ниточка?

— Видите, тянется... Куда ж ей деться?

* * *

На той же скамеечке услышала диалог мамы — жены писателя и ее маленького сынишки.

— Мама, помнишь, мы шли мимо домика и ты сказала, что это церковь?

— Да, милый. Церковь.

— А кто в ней живет? — продолжает допытываться мальчик.

— Бог.

— А где он работает?

Мать замялась в поисках ответа:

— Бог не работает. Он...

— Он — писатель! — радостно воскликнул малыш.

* * *

Я опять сидела на любимой скамеечке со своим вязанием. Ко мне подседа Агния Львовна Барто. Это

была большая грузная женщина, всегда почему-то в черном. И глаза ее были грустными.

— Не люблю этот дом. Мрачный. Кажется, что здесь живут призраки.

Я не согласилась:

— Да что вы, Агния Львовна. Дом как дом, лучше других. И вам ли печалиться? Ваши стихи знают наизусть все дети. Вот дочка моя младшая все время повторяет: «А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда!» Вы — счастливая. Вас вся страна знает.

Она посмотрела на меня странно и сказала:

— Вы врач и должны понять... Мой сын погиб здесь. Вышел из дома, хотел покататься на велосипеде. Поехал из нашего переулка, свернул на набережную. Навстречу шел грузовик. Этот грузовик сбил моего мальчика насмерть. Ему было девять лет... А вы говорите, стихи... Что стихи? Пустое...

* * *

Были и забавные случаи.

Однажды я вышла из подъезда и глазам своим не поверила... Тротуар перед домом был сплошь усеян осколками тонкого дорогого фарфора. Что случилось? Неужели семейный скандал с битьем посуды и выкидыванием ее на улицу? При чем посуды, судя по всему, очень дорогой...

Позже все выяснилось. В нашем доме жил писатель Вадим Кожевников, автор известного тогда романа «Щит и меч». Моя дочь Люба дружила с его детьми, да и мы с мужем нередко заходили в гости к Кожевниковым-старшим. Оказалось, что из поездки в Китай чета Кожевниковых привезла дорогой сервиз и... обезьянку. Когда в доме никого не было, обезьянка, из хулиганских побуждений или просто

развлекаясь, чашечку за чашечкой выбросила в окно почти весь китайский сервиз. Не знаю, что стало с обезьянкой после этого случая.

ДРУЗЬЯ И СОСЕДИ

Друзей в писательском доме у нас практически не было. Исключением стала семья писателя Михаила Семеновича Бубеннова. Сейчас мало кто вспомнит эту фамилию, да и книги писателя в магазинах не продаются. А сразу после войны, скажу без преувеличения, весь народ зачитывался романом «Белая береза». Тогда Михаил Семенович был писателем знаменитым. Роман он начал писать еще на фронте, как говорят, по горячим следам. Бубеннов рассказывал, как, возвращаясь с войны, вез в вещевом мешке рукопись «Белой березы». Книга была опубликована в 47-м году, а в 48-м Бубеннову, одному из первых, была присуждена Сталинская премия. Книгу перевели на несколько языков. Но самое главное, Михаил Семенович получал тысячи писем — откликов на свой роман. Я видела эти письма.

Мы познакомились в начале 60-х... Так получилось, что мне пришлось лечить и делать операции, по разным поводам, почти всем членам его семьи.

Михаил Семенович казался мне человеком необыкновенно честным, он всегда говорил, что думал, и ничего не боялся. К тому же был очень трудолюбив. Нравился он мне и потому, что, как и я, родился в крестьянской семье и всего добился трудом и талантом.

Он рассказывал, как еще в начале века его предков сослали за что-то из центральной России на Алтай. Там он и родился, но особенно любил именно

среднюю полосу России, поэтому и назвал свой роман «Белая береза».

В 60-е годы, когда началась «оттепель», на Бубеннова стала нападать критика, называли его сталинистом, перестали печатать. Жизнь ему отравляли исподтишка и в нашем доме: считали антисемитом и Бог знает кем... Он не сдавался и платил хулителям той же монетой. Все эти баталии подрывали здоровье. Говорили, что он умер от пьянства. Но я-то знаю, как было на самом деле. Михаил Семенович страдал холециститом, к тому же запущенным. Его оперировали дважды. Но после второй операции начался перитонит. Он прожил недолго.

Очень жаль, что сегодня редко вспоминают имя Бубеннова. Впрочем, стоит ли удивляться, если понятия «патриот», «любовь к родине» стали у нас ругательными. А в героях нашего времени ходят уголовники, киллеры и интердевочки...

Недавно услышала по телевидению, как один молодой человек на вопрос, что такое Родина, ответил: «Это место, где мне хорошо жить».

А журналисты, телеобозреватели и политологи сплошь и рядом называют Россию «этой страной», а о любой за границе говорят с придыханием.

Когда слышу подобные речи, мне жалко не «эту страну», а вот таких сторонних наблюдателей. Короток их век. Ведь известно издавна: ни дерево, ни цветок, ни даже самая малая былинка без корней не живет.

Написала о Бубеннове — и вспомнила еще одну свою соседку, Лидию Русланову. Она ведь тоже беззаветно любила Россию. Стоит только послушать ее песни.

Познакомила меня со знаменитой певицей сестра моя, Татьяна... Она была лечащим врачом ее при-

емной дочери. К тому же мы с Лидией Андреевной оказались соседями по балконам. Бывало, летними вечерами вместе любовались панорамой Москвы, открывающейся из наших окон. Правда, Русланова бывала дома редко. Выступления, концерты занимали все ее время. Причем популярность ее была огромна!

Лидия Андреевна казалась человеком веселым, открытым и бесстрашным... Она была из тех, кто, как говорится, за словом в карман не полезет...

Но однажды я увидела ее другой — расстроенной и подавленной. Оказалось, на нее напали грабители. Накануне поздно вечером она возвращалась с концерта. Вошла в подъезд, поднялась на лифте, и прямо у дверей квартиры ее ударили чем-то тяжелым по голове. Русланова упала и потеряла сознание. Когда очнулась, увидела, что с нее сняли каракулевую шубу.

— Конечно, шубу жалко, — закончила она рассказ. — Но больше всего угнетает и унижает насилие...

Знала бы она, какие унижения ждут ее впереди! Вскоре после войны посадили ее мужа, генерала Крюкова. Ходили слухи, что из Германии он якобы вывез ценные картины. Потом арестовали и Лидию Андреевну.

Никогда не забуду, как из богатой ее квартиры по-варварски тащили вещи. Не вывозили, а именно тащили, ломали, бросали со всего размаху изумительной красоты хрустальные люстры, посуду... Больно было смотреть, как обращались с картинами: свалили возле лифта рамы, холсты и чуть ли не ходили по ним ногами... Приемная дочь Руслановой оказалась брошенной. Мы даже приютили ее на несколько дней, пока не объявились родственники.

Когда Русланова вышла из заключения, в наш дом она не вернулась. Но вновь стала выступать. Я была приглашена на первый же ее концерт.

Помню, Колонный зал Дома союзов был заполнен до отказа. Яблоку негде было упасть. Сверкающие люстры, море цветов, аплодисменты, крики «браво!»... И изумительный голос русской певицы...

* * *

Давно уже не живу я в Лаврушинском... Постепенно дом стал разрушаться и ветшать, требуя капитального ремонта. Ведь строился дом с деревянными перекрытиями.

В 70-х годах поселился в нашем доме американский промышленник, миллионер Арманд Хаммер. Тот самый, который приезжал в Советский Союз еще в 20-е годы и встречался с Лениным. Он купил в центральном, самом шикарном подъезде сразу два этажа и даже построил бассейн. В 80-е дом уже требовал не ремонта, а полной реконструкции. Хаммер, окрыленный перестройкой, предложил очень выгодный проект. Он хотел сделать из писательского дома гостиницу, а жильцам предоставить квартиры в других районах. Но вскоре Хаммер умер, так и не реализовав свой проект.

Дочь Люба ездит иногда в Лаврушинский к старинной подруге, которая живет там до сих пор. По ее словам, все прежние жильцы — знаменитые писатели — уже умерли. Умирает и сам дом. В подъездах появились огромные крысы...

КРЕМЛЕВСКИЕ БОЛЬНЫЕ

Первый раз я увидела Кремль зимой 41-го года. Мне было двадцать восемь. Я уже работала в поликлинике. Однажды муж заехал за мной после работы на машине и решил показать Москву. Тогда-то я и увидела Кремль. Никогда не думала, что может быть такая красота на свете! У меня даже слезы на глаза навернулись... Мы ехали по Большому Каменному мосту, и Кремль был виден как на ладони: его башни и стены, купола соборов и верхушка колокольни. Помню, я попросила мужа объехать кругом, чтобы еще раз взглянуть и запомнить. Думала ли я тогда, что когда-нибудь стану кремлевским врачом и судьба подарит мне встречи с самыми выдающимися людьми моего времени? Государственными деятелями и полководцами, писателями и артистами, композиторами и учеными... Встречи скорее трагичные, нежели радостные. Многие заканчивались смертью, поэтому и запомнились особенно ярко.

Когда я еще обдумывала книгу, моя старая приятельница, работавшая в Кремлевской больнице, сказала: «Мы давали подписку о неразглашении. Рассказывать о наших больных нельзя. Это неэтично».

В это время я слышала по телевизору подробный отчет хирургов об операции на сердце, которую сделали нашему президенту. Какие теперь тайны? Какое неразглашение? Вспомнила и молодость, когда приходилось конспектировать народного комисса-

ра здравоохранения Николая Александровича Семашко. «Мы держим курс на полное уничтожение врачебной тайны, — утверждал академик. — Врачебной тайны не должно быть. Это вытекает из нашего основного лозунга, что болезнь — не позор, а несчастье. Но, как и везде, в наш переходный период мы и в эту область вносим поправки, обусловленные бытовыми пережитками. Каждый врач должен сам решать вопрос о пределах этой тайны». Это было сказано в 1928 году. Но звучит, как нельзя, современно. Тем более что я опять живу в «переходный период» и вольна сама для себя решать этические вопросы. Как, впрочем, и любые другие. Ведь главное завоевание нового времени — свобода.

«КРЕМЛЕВКА» В СОКОЛЬНИКАХ. ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ

Вторая Кремлевская больница находилась в Сокольниках. Ее территория являлась как бы продолжением парка. Оознавательным знаком служила пожарная каланча, видная издалека. Раньше на этом месте была обычная инфекционная больница. Четвертому управлению ее передали, видимо, из-за прекрасного месторасположения. К тому же все четыре корпуса были деревянные. Запах дерева, свежий воздух, прекрасный сад. В окна палат прямо-таки заглядывали ветки сирени, вишен, жасмина. И впрямь райское место! Особенно мне нравилось здание первого главного корпуса, где размещались отделения терапии и мое, хирургическое. Все было удобным и светлым: высокие потолки, просторные палаты, большая операционная, всегда белоснежное белье. Никакой надписи на здании не было. У каждого корпуса обязательно стояла охрана.

В этой больнице я проработала недолго. Меня направили туда сразу по возвращении из Югославии и недолгого декретного отпуска. В 49-м родилась моя вторая дочь, Люба. Я была счастлива.

Хорошо помню свой первый рабочий день. Встретил меня главный врач больницы Морщагин, был он доброжелателен и после короткой беседы направил к заведующему хирургическим отделением больницы Голомидову. Под его началом мне и предстояло работать.

При входе в отделение я столкнулась с неким А. В., бывшим ассистентом клиники профессора Бакулева. Когда я там работала, он изрядно и по любому поводу трепал мне нервы. Видно, такой у него был характер. Я сникла, еще не зная, что он стал уже профессором и мало того — главным хирургом этой больницы. С ехидной улыбкой А. В. приветствовал меня:

— Теперь мы снова будем работать вместе.

Сердце мое упало, настроение испортилось. Я твердо решила забрать документы и устроиться в любое другое лечебное заведение. Только бы подальше от этого человека!

Когда вошла в кабинет Голомидова, с ходу начала уверять его в том, что не подхожу для больницы столь высокого ранга. Мол, хирург я никудышный, к тому же в течение четырех лет, работая в Югославии, активной хирургией не занималась. Довольно долго я наговаривала на себя Бог знает что. Голомидов внимательно выслушал мой монолог и сказал:

— Голубушка, здесь что-то не так.

Потом усадил в кресло подле себя и продолжил с усмешкой:

— Мне только такие врачи и нужны — откровенные, честные, самокритичные. А то, что вы четыре

года не оперировали, так это дело наживное. За вашими плечами огромный опыт военных лет, клиника, работа за границей... Ну а если по-честному, что вас испугало?

Мне ничего не оставалось, как признаться, что не хочу работать с профессором А. В., и объяснить причины. Голомидов рассмеялся и, вставая, сказал:

— Нет, голубушка, я вас не отпущу. Работать будете со мной, и в обиду я вас не дам.

По выражению его лица и по некоторым незначительным фразам я поняла, что он тоже не в восторге от ведущего хирурга.

Так я начала работать во второй «кремлевке». Первое время только ассистировала Голомидову на операциях. Он многому меня научил. Всегда вспоминаю с благодарностью этого прекрасного хирурга-клинициста. К тому же и человеком он был порядочным. А таким людям, как известно, во все времена нелегко. Начал он врачебную практику в маленьком городке Чапаевске. Потом перебрался в Москву. Его заметили, пригласили в первую Кремлевскую больницу, где сразу назначили ведущим хирургом.

Все бы хорошо, но Голомидова подвел независимый характер. Он никогда не подлаживался к начальству, был против всякой показухи, хотел, чтобы врачу доверяли. Он прямо-таки восставал против бесконечных консилиумов в тех случаях, когда диагноз, поставленный больному, не вызывал сомнения. Считал, что ради перестраховки безрассудно отрывать академиков и профессоров от основного дела. В конце концов, Голомидов просто перестал являться на консилиумы, и в наказание за это был понижен в должности. Из первой «кремлевки» его перевели во вторую. Но здесь он тоже пытался остаться самим собой.

Как и первый день работы, ясно помню своего первого знаменитого больного. Это был Алексей Маресьев, легендарный герой. Когда я увидела его воочию, даже растерялась от неожиданности. Только что появилась книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», которую все читали взахлеб. Мне казалось, что Маресьев — просто литературный герой, что в жизни такого человека не может быть. И вдруг: Алексей Петрович собственной персоной...

Сначала сообщили из приемного покоя по телефону: «К вам поступает Герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев по поводу потертостей культей. Состояние удовлетворительное». И все-таки я побежала навстречу. Мне поскорее хотелось увидеть этого человека-легенду. Историю его тогда знал чуть ли не каждый. Отважный летчик, который в Великую Отечественную сражался в истребительном авиаполку, собственноручно сбил четыре самолета. Но в одном из боев фашисты подбили его самолет, сам он был тяжело ранен и девятнадцать суток ползком добирался до своих!..

Как врача меня больше всего поражала невероятная сила воли этого человека! После ампутации обеих ног он научился ходить, добился, чтобы его снова направили в действующую авиацию. Поразительно! Ну и, разумеется, было интересно сравнить живого героя с персонажем книги Бориса Полевого...

И вот Маресьев в моем хирургическом отделении. Лечение продвигалось успешно, хотя только мы, медики, знали, какие страшные боли в ногах он преодолевал.

Однажды я попросила Алексея Петровича рассказать что-нибудь из своей жизни.

— Когда я полз по лесу, знаете, что больше всего мучило? — рассказывал Маресьев. — Голод. До сих

пор помню. Голод и жажда. Воду я пил из луж. А вместо пищи выкапывал съедобные травки. Ну и это было трудно. Руки мои были исцарапаны в кровь...

Маресьев пролежал у меня недолго. Такие люди в больницах не задерживаются. Но встреча с ним придала и мне уверенности в собственных силах и знаниях.

УЧУСЬ ГИПНОЗУ

Несмотря на все заверения Голомидова, мне не удалось избежать столкновений с профессором А. В. Однажды вышел и прямой конфликт.

Оперировали больного, не помню его фамилии, с диагнозом «язва желудка». Операция прошла благополучно. Часть желудка пришлось удалить. Но я усомнилась в диагнозе, высказав предположение, что у больного — рак.

После операции мы вскрыли удаленный желудок, увидели большую язву, расположенную по малой кривизне.

— Мне кажется, что это рак, — сказала я.

Недруг профессор посмотрел на меня уничижительно.

— Читать нужно больше, чтобы хоть что-нибудь знать.

Я промолчала. Но последовала совету профессора. Перед гистологическим исследованием внимательно перечитала соответствующие страницы учебника по онкологии. Уверовав в безошибочность своего диагноза, на направлении написала «рак желудка» и подробно обосновала такой диагноз в истории болезни.

Прошло два дня. Как мне рассказали, увидев в графе окончательного диагноза мою запись, профессор пришел в ярость:

— Да как она смела! Кто ей позволил! Оперировал я, она только ассистировала!

И выдал мне убийственную характеристику: Мощенцева — бездарный хирург. Таким в Кремлевской больнице не место.

В этот момент я как раз находилась в патолого-анатомическом отделении: не терпелось узнать результат исследования. Когда я вернулась с заключением, подтвердившим мой диагноз, профессора на месте не было. Зато все врачи были в сборе — интересно все-таки, чем закончится эта история! Кто-то смотрел на меня с сочувствием, кто-то — с ехидной усмешкой. Одна из злорадствующих принялась красочно описывать реакцию профессора на мое заключение. Я спокойно показала результат патолого-анатомического исследования, позволив себе лишь ироничную реплику: «бедный профессор!»

Как ни странно, но после этого скандала мы с профессором даже подружились...

Много было больных с заболеванием щитовидной железы. Часто требовалось хирургическое вмешательство. Удалять щитовидную железу было тогда очень сложно: слишком близко проходят сосуды, питающие головной мозг, нервы, голосовые связки. Но самое неприятное, что в начале 50-х применялся только масочный наркоз. Причем наркоз был не эфирный, просто больного усыпляли хлороформом. А хлороформ — вещество ядовитое и всегда отрицательно действует на щитовидную железу. Случалось, что больные плохо переносили и операцию, и послеоперационный период. К тому же было трудно защитить организм от инфекции.

Я знала, что в медицинской практике уже давно применяли метод полигипноза. Во 2-й Градской больнице существовала даже небольшая школа. Там устроили специальное помещение, которое не про-

пускало никаких посторонних звуков. Это очень важно, потому что во время сеанса больной должен слышать только голос врача.

И вот две с половиной недели я проходила курс гипноза... Как это было интересно! Я тихо внушала больному, что операция пройдет безболезненно, что он должен слышать только мой голос и повиноваться ему беспрекословно. Метод этот приносил положительные результаты.

Первую свою операцию с помощью гипноза, то есть без масочного наркоза, я провела во 2-й Градской. Представьте, больному действительно не чувствовал боли. Профессора хвалили мои руки, мой голос и даже аттестовали меня.

Последующие операции такого рода я проводила уже в Кремлевской больнице. Все они прошли успешно.

Но спустя время я отказалась от этого метода. Слишком много времени занимала подготовка. А я хотела работать хирургом. Это было моей профессией.

ПОЛЫ ПАРКЕТНЫЕ — ВРАЧИ АНКЕТНЫЕ

Существовало полугласное правило для работающих в «кремлевках»: не знакомиться с посторонними людьми, то есть с теми, кто не имел отношения к нашему, четвертому управлению. Поэтому среди медицинского персонала много было неженатых и незамужних.

Во второй Кремлевской больнице заведующим отделением у нас был Глеб Сергеевич Розанов, брат известного профессора хирурга Бориса Сергеевича Розанова. Хорошо воспитанный, тактичный, мягкий в обращении, во всех отношениях приятный человек. В больнице считали его интеллигентом.

Наверное, эта врожденная интеллигентность и подводила его нередко...

Некоторое время он работал в институте им. Склифосовского, в чем-то провинился. Реакция начальства на его проступок показалась ему несправедливой. Розанов уволился из этого престижного лечебного заведения. Да не просто уволился, а вообще уехал из Москвы. Стал работать врачом в сельской глубинке. Но и там ему не повезло.

Как-то на прием пришла интересная молодая женщина в сопровождении мужа. Глеб Сергеевич пригласил ее в кабинет, а мужа попросил подождать в коридоре. Задав пациентке предварительные вопросы, он мягко сказал: «А теперь приляжем на кушетку и я осмотрю вас». Муж, услышав через приоткрытую дверь это «приляжем», подумал Бог знает что и пожаловался начальству на «развратного врача».

Начались неприятности. Глеб Сергеевич опять возвратился в Москву. Какое-то время был без работы. Но в медицинских кругах его знали как отличного специалиста. И вскоре он был приглашен на работу во вторую Кремлевскую больницу, а немного спустя стал заведующим хирургическим отделением.

И все бы хорошо. Но... Опять его преследовали неожиданности и приключения. В один прекрасный день в патологоанатомическом отделении случилось нечто из ряда вон выходящее: крысы отгрызли покойнику нос и что-то еще. Патологоанатома пришлось уволить. Взяли нового врача. Им оказалась красивая молодая женщина.

И произошло непредвиденное: Глеб Сергеевич влюбился в нового врача, да так, что забыл про все на свете, даже про обязанности ведущего хирурга. Вся нагрузка по работе легла на плечи женщин, особенно на меня и Надежду Ивановну Ковтун. На все

наши увещевания и замечания Розанов не реагировал. Он был ослеплен.

Тогда мы решили действовать по-другому. На листе бумаги я нарисовала карикатуру: Глеб Сергеевич склонился над трупом и целится дубинкой в крысу, которая отгрызает у покойника нос.

Розанов намек понял и перестал без надобности ходить в анатомичку. Роман с красавицей, специалисткой по трупам, стал тихонечко угасать. Да и не положено было в Кремлевской больнице заводить романы с сослуживцами.

Многое было не положено нам. Анкета при приеме на работу была очень подробной. Недаром существовала даже присказка или частушка: «Полы паркетные — врачи анкетные». Мы давали чуть ли не клятву, что на первом месте в нашей жизни будет работа, и только работа. Тут уж не до романов и влюбленностей! К тому же, как я уже говорила, мы не имели права ни с кем особенно знакомиться. В театр или кино можно было пойти только с родственниками или сослуживцами...

Ни под каким предлогом никому нельзя было рассказывать, где мы работаем, где находится больница, кого мы лечим. И ничего в жизни не должно быть для нас важнее работы.

Особенно строго эти правила действовали в 50—60-х годах.

БУКЕТ ДЛЯ ПЕТРА АЛЕЙНИКОВА

Это было во второй больнице в Сокольниках.

Лето. Прекрасное солнечное воскресенье. В открытое окно доносится щебет птиц и даже шелест листьев. В отделении, за дверью, абсолютная тишина. Я настроилась на спокойное дежурство.

Раздался телефонный звонок из кабинета главного врача Морщагина.

— Прасковья Николаевна, к вам сейчас должны прийти посетители — артисты Крючков и Андреев — к больному, тоже артисту — Алейникову. Предупреждаю: они навеселе. Могут принести что-нибудь спиртное и для нашего пациента. Сами понимаете, к чему это приведет...

Конечно, я тут же проявила сверхбдительность: предупредила вахтеров, медперсонал, чтобы без моего разрешения «два веселых друга» не проникли к третьему. Мне сразу вспомнилась знаменитая песня из фильма, где блистательно играли все три актера. Что касается Николая Крючкова, о его пристрастии к алкоголю было известно давно.

Гости не заставили себя ждать, появились с огромным букетом цветов в вазе, в отличном расположении духа. Как положено, надели белые халаты, предъявили пропуска и направились в отделение. Но... были остановлены вахтером. Я подошла к артистам, представилась и поинтересовалась, что они несут с собой....

— Цветы. А разве нельзя? — поспешил ответить Крючков, будто ожидая вопроса...

— Цветы, конечно, можно.

Я пропустила гостей, не заметив ничего подозрительного...

— Спасибо, доктор, — разом сказали артисты и поспешили в палату.

Через какое-то время я отправилась на обход. За дверью палаты Алейникова услышала громкие голоса и взрывы смеха. Решила утихомирить гостей, напомнить им, что это не все-таки не театр, а больница.

Вошла и не поверила своим глазам. Сияющий Петр Алейников сидел, свесив ноги с кровати, и

произносил тост за здоровье своих друзей. Я ахнула! Сидеть и тем более пить ему было категорически запрещено. Всего три дня назад его привезли со съемочной площадки с острым приступом холецистита. Было очевидно, что произносимый тост был далеко не первый.

Не успела я вымолвить слово, Андреев с Крючковым наперебой стали приглашать меня к импровизированному столу:

— Прасковья Николаевна! Посидите с нами, отдохните. Выпейте чуть-чуть.

Но, видимо, вид мой был настолько свиреп, что они вскочили со стульев и потихонечку стали пятиться к двери, произнося слова извинений.

Позже я поняла свою оплошность. Оказывается, букет для Петра Алейникова стоял в вазе, наполненной коньяком. Ничего не скажешь: хитрецы! Обвели меня всенародные любимцы вокруг пальца.

СМЕРТЬ ШПАГИНА

Не так уж часто родственники благодарят врачей за внимательное отношение к пациенту, которого уже нет на свете. Многие рассуждают так: умер — значит, медики виноваты: недосмотрели, ошиблись и даже — «зарезали»...

В больнице, что в Сокольниках, лечился у меня Георгий Семенович Шпагин. Он не принадлежал к сильным мира сего, был конструктором, изобретателем. В молодости работал слесарем-оружейником, потом занялся конструированием стрелкового оружия. Ему принадлежит идея создания крупнокалиберного пулемета, а также знаменитого во время войны пистолета-пулемета ППШ. Буква «Ш» и означает фамилию изобретателя. За создание этого оружия

Шпагин в самом начале войны был удостоен Государственной премии.

Он был истинным самородком. Мне всегда казалось, что подлинные таланты чаще появляются не в столицах, а в провинции, из простого народа. Их никто не «двигает». Все достигнутое и созданное ими — плод личного таланта, ума, золотых рук. И как бы сегодня ни чернили прошлое, дорогу таким людям давала именно советская власть.

Взять хотя бы того же Шпагина. За свои изобретения он был награжден пятью орденами! Когда рассказывал, как в Кремле ему вручали третий по счету орден Ленина, глаза его сияли.

Но Шпагин умирал. Мы знали, что у него рак желудка. На операцию решились только потому, что надеялись продлить жизнь, если что-то удалим.

Эта операция преследует меня постоянно. Вот и сейчас, как кинолентку, прокручиваю все ее детали.

Сестра надевает мне на руки перчатки. Больной уже лежит на операционном столе. Анестезиолог ждет указания начать наркоз. Больной засыпает. Начинаю обработку операционного поля...

— Скальпель, — в который раз произношу я. Делаю разрез. Хлещет кровь. Специальными зажимами перевязываем сосуды. Опять режу. Наконец дохожу до брюшной полости. Огромная лампа над столом освещает операционное поле. Начинаю смотреть, что же у больного. У Шпагина желудок полностью поражен метастазами. Смотрим дальше. Но что толку? Вокруг желудка — сплошная опухоль. Невозможно что-либо сделать. Все! Кончено! Операция бесполезна. Я зашиваю больного.

В такие минуты не хочется жить, наваливается что-то страшное и темное. Я беспомощна. Беспомощны все, кто рядом. Беспомощна медицина.

Шпагина перевезли в палату. Когда он пришел в сознание, я сказала:

— Георгий Семенович, все, что могли, мы сделали.

Он не задавал вопросов. Видел по моим глазам, как прошла операция. Потом сказал:

— Прасковья Николаевна, не надо, не рассказывайте, не говорите ничего. Я вас благодарю за все...
Вскоре он умер, ему было 55 лет.

Я бережно храню подарок от его семьи — красную вазу, на которой выгравировано: «Дорогой Прасковье Николаевне Мошенцевой в знак благодарности за особое чуткое и великодушное отношение при лечении нашего горячо любимого мужа и отца». И подпись жены и дочери Георгия Семеновича.

ДИАГНОЗ: «СИФИЛИС»

Кажется, это были 50-е годы.

Однажды поступила к нам очень красивая женщина из одной среднеазиатской республики. Видимо, высокопоставленный муж добился, чтобы ее направили в Москву и положили к нам, во вторую Кремлевскую больницу. Она была русская. Блондинка, лет сорока, но лицо очень желтое. По виду — все признаки желтухи. Да и настроение у нее было неважное. Когда мы познакомились, она сказала:

— Доктор, вся надежда на вас...

— В чем дело, что вас беспокоит? — задала я традиционные вопросы.

— Побаливает вот здесь, справа, — сказала она. — В области печени. Сильных приступов нет. Боли, скорее, ноющие. Но самочувствие отвратительное.

— А дома к врачам вы обращались?

— Обращалась, но толку мало... — Она безнадежно махнула рукой.

Мы начали проводить обследование, и совершенно неожиданно в крови выявилась положительная реакция на сифилис. Причем резко положительная, так называемые «четыре креста». Все врачи сразу заволновались, потому что это был первый случай подобного заболевания в практике нашей больницы. Да и я с этим заболеванием никогда не сталкивалась. Сделали повторный анализ крови. Обнаружилось, что вообще вся структура крови была резко изменена.

Решили созвать консилиум. Хирурги поначалу отмалчивались. Картина была неясной. Желчнокаменная болезнь не подтверждалась. Терапевты высказали предположение, что подобная реакция в крови бывает при резкой желтухе. Я немного успокоилась, тешила себя надеждой, что, может быть, действительно где-то застрял камень. И терапевты подтверждали, что при сильной желтухе реакция на сифилис может быть положительная. Но мне в это верилось с трудом.

Через какое-то время из республики приехал муж. Очень влиятельный человек. С врачами вел себя пренебрежительно. Сказал, что местные врачи заболевания желчного пузыря не признают, а жена все время жалуется на боли.

Опять собрался консилиум, на котором было принято решение сделать пробную лапаротомию, вскрыть брюшную полость. Приготовили больную к операции. И что же? При вскрытии брюшной полости обнаружилось полное поражение печени. Диагноз сифилиса подтвердился. Встал вопрос, что делать с больной дальше. То ли перевозить ее в специальную больницу, то ли оставить у нас, но изоли-

ровать. Впрочем, она и так лежала в отдельной палате и ни с кем не соприкасалась.

Я сообщила ей диагноз, спросила, есть ли дети.

— У меня один сын, — сказала она. — Он в армии.

— Где вы могли заразиться? Откуда такая болезнь?

Больная моя заплакала.

— Я так и думала, так и думала, — всхлипывала она. — Знаете, это все из-за мужа. Там, дома, у него целый гарем. А я все должна была терпеть.

Видимо, она и раньше догадывалась о своем заболевании, а может быть, даже и знала наверняка.

На следующий день вызвали мужа, сказали ему о сифилисе. Он страшно возмутился. Стал прямо-таки орать в голос:

— Не говорите глупостей. Я буду жаловаться! Что за врачи здесь работают?!

Я опять забеспокоилась о сыне, не болен ли он, ведь сифилис передается и бытовым путем.

Он обозлился еще сильнее, наговорил мне кучу гадостей.

А потом меня вызвал к себе главный врач больницы и сделал официальное заявление:

— Прасковья Николаевна! Звонили из Министерства здравоохранения. Муж вашей больной подал на вас жалобу, якобы вы поставили неправильный диагноз и выдумали сифилис. Он требует, чтобы вас уволили. В министерстве тоже возмущены, что оскорбили человека столь высокого ранга. — Потом чуть тише добавил: — Да не волнуйся ты. Мы подчиняемся другому ведомству, четвертому управлению, а не министерству. Авось проне-сет.

Конечно, он поддержал меня, потому что и сам был на консилиуме, все видел и знал, что диагноз поставлен правильно.

Скандал докатился и до четвертого управления. Поначалу там тоже гневались:

— Вы уверены в диагнозе? Что за дикий случай!

Наш главный врач, Федор Константинович, заявил, что на консилиум были приглашены и специалисты по венерическим заболеваниям. Диагноз правильный, это — сифилис.

Меня оставили в покое. Я же настояла, чтобы вызвали из армии сына этой женщины и положили в больницу на обследование. Может быть, этого и не следовало бы делать. Но я была слишком прямой. Однажды спросила у Федора Константиновича, как обстоят дела с сыном. Он мрачно сказал:

— Оставь, Прасковья. Это не наш контингент. Не наш больной.

Мать мы продолжали лечить в нашей больнице. На выздоровление не надеялись, поскольку у нее была последняя стадия. Она все плакала, беспокоилась только о сыне, просила вылечить, если у него будет обнаружен сифилис.

— А что же муж? — спросила я. — Ведь он тоже, наверное, болен?

— Он лечился там, у нас, — ответила она безразлично, — но скрывал, от какой именно болезни. К тому же мы уже давно не поддерживаем супружеских отношений.

Вскоре ее забрал муж, повез на родину. Мы особенно не возражали. Она была обречена. Как сейчас, стоит она передо мной — изумительной красоты женщина, настоящая русская красавица. Через месяц она умерла. Это единственный случай в моей практике, когда я встретила с сифилисом. Даже в военном госпитале не встречала.

МАРШАЛ РОКОССОВСКИЙ

Какие мои больные там: на работе, на службе я не знаю... Но когда поступали ко мне, они становились проще, доступнее. Недаром испокон веку говорят, что человек может говорить откровенно только со священником или с врачом.

Более красивого пациента, чем Константин Константинович Рокоссовский, у меня, пожалуй, не было. Имею в виду не только внешнюю красоту, а удивительную гармоничность всего его облика. Наблюдали мы его вместе с урологом Галиной Ивановной Копейкиной из спецполиклиники, и Рокоссовский не раз, шутя, говорил: «Посмотрите, какие красивые у меня лечащие врачи».

Однако шутливое настроение у маршала случилось все реже и реже. Он был смертельно болен и, видимо, знал об этом. Заболевание считалось очень тяжелым — рак предстательной железы. Сначала его лечили всеми доступными способами. Но все было напрасно. Правда, кремлевские медики продлили ему жизнь лет на десять. Но в последние годы болезнь стала прогрессировать. Пошли метастазы. Положили его в больницу, но знали, что операция бесполезна.

Как сейчас, вижу его перед собой. Он всегда был выдержан, держался доступно, был откровенен и вел себя исключительно мужественно. Наступила самая мучительная стадия болезни — приближение конца...

Я знала, что Рокоссовский — личность исключительная. Он ведь командовал армией, когда шла битва под Москвой, был участником Сталинградской битвы. И мало кто знает, что в 37-м он был репрессирован и провел в лагерях и тюрьмах несколько лет, вплоть до начала войны.

Как-то вечером во время дежурства я зашла в палату Рокоссовского. Он не ожидал моего прихода, на лице его застыло страдание.

Я спросила:

— Константин Константинович, вам, наверное, очень больно. Почему вы терпите? Давайте сделаем обезболивающий укол.

— Прасковья Николаевна, я же солдат, — ответил он.

Однажды сказал:

— Доктор, вы когда-нибудь сидите? Сколько я вас вижу, вы все на ногах, все стоя.

— Так ведь работа такая, — ответила я. — Разве сидя осмотришь больного, разве сделаешь ему перевязку? А если операция... Ведь тоже стоя... Вот и получается, Константин Константинович, что хирург все время работает стоя.

Рокоссовский вдруг оживился:

— А вы знаете, Прасковья Николаевна, наши профессии в чем-то схожи. Ведь сидя тоже много не навоюешь, не проведешь военную операцию. Расскажу вам один случай из фронтовой жизни. Только сядьте, пожалуйста.

Я присела у его кровати.

— Это был 41-й год. Немцы рвались к Москве. Мои солдаты, чудом вышедшие из окружения, буквально заслоном стали на их пути. Но на решающем участке фронта немецкая артиллерия палила с необыкновенной яростью, началась атака. Мои бойцы и командиры буквально слились с землей. Казалось, никакая сила не сможет поднять их в контратаку. Что было делать? Что придумать? Не знаю, что меня толкнуло. Но я вдруг поднялся с земли, встал во весь рост и... закурил. Интересно, что я не чувствовал страха. Наверное, это было отчаяние. Солдаты мои несколько секунд, а может быть, минут смотрели в мою

сторону. А потом стали подниматься с земли один за другим, один за другим... И пошли в атаку. И прямо-таки вырвали у врага победу.

Я слушала Константина Константиновича как зачарованная.

Да, этот человек остался солдатом до конца дней. Его выдержку и силу воли просто нельзя переоценить.

Умирал он у меня на руках. Я никогда не забуду этих мгновений, особенно выражения лица маршала... Лицо было спокойное, отрешенное. Глаза смотрели мимо меня, куда-то в неизведанное. Казалось, он уже приготовился к смерти, причем встречал ее без всякого страха.

Я не знаю, есть ли Бог. Но уверена, что существует там, в космосе, какая-то высшая сила, которую все мы не изучили и толком не знаем.

ШОЛОХОВ И МАЛИК

Шолохов попал в нашу больницу в 1968 году. Я уже писала о нем, но вот еще одно воспоминание.

Прошло около трех недель после операции. Больной поправился, порозовел, окреп. Коленные суставы мы привели в полный порядок. Исчезли боли, восстановилось движение, и я как-то пришла на обход в хорошем настроении и решила обрадовать Михаила Александровича:

— Теперь я разрешаю вам встать. Вы можете походить сначала по палате, а потом и по коридору.

Он обрадовался, стал говорить какие-то комплименты в мой адрес. А потом вдруг помрачнел и сказал:

— Как же я перед вами встану — весь я маленький, а ноги у меня кривые.

Я расхохоталась.

Когда Михаил Александрович стал расхаживаться и выходить на прогулку в коридор, произошло одно ЧП.

В соседней палате лежал тоже мой пациент, бывший представитель СССР в ООН Малик. У него был перелом плеча. Мы с ним были знакомы еще по Парижу, когда я там служила врачом посольства. И как старые знакомые часто вспоминали о нашей встрече на побережье Атлантического океана, о Париже, о том, как я лечила его дочь.

Однажды я пригласила Малика в перевязочную для снятия гипса. И только мы стали выходить из дверей (обычно у нас принято — впереди идет больной, а за ним врач), как Малик бросился назад в палату, чуть не сбив меня с ног.

— Что случилось? — удивленно спрашиваю я.

— Там Шолохов!! — с трудом выговорил Малик, показывая рукой в сторону коридора.

— Ну и что же, что Шолохов? — ничего не понимая, спросила я.

Малик схватил меня за руку, усадил на стул и принялся сбивчиво рассказывать. А было вот что: Малика в Нью-Йорке по телефону из Москвы предупредило высшее начальство, что Шолохов едет в Америку по приглашению правительства и писательской общественности на какой-то форум и нельзя допустить, чтобы он явился туда пьяным...

Задача, прямо сказать, не из легких. Ведь в посольствах, а тем более в представительстве ООН всегда были большие запасы различных дорогих вин да и всякой другой выпивки. Каким образом удержать пьющего человека от такого соблазна? Невозможно...

— Знаете, что я придумал? — рассказывал Малик. — Пришлось раскошелиться, и изрядно. Официантов в отеле я уговорил налить в бутылки из-под дорогого вина с соответствующими этикетками сок

и различные минеральные воды. Все это нужно было сделать быстро, до приезда Михаила Александровича. Одним словом, задание Москвы я выполнил. Любезно встретил писателя, сразу же заказал лимузин. Но Михаил Александрович с дорожки решил опохмелиться. Как откажешь такому гостю? Все было предоставлено ему на выбор. Он принялся угощать сам себя, открывая одну бутылку за другой и тут же отставляя их обратно. В это время я с тревогой смотрел на часы: скорее бы отправить на совещание Михаила Александровича. Наконец-то пробили стенные часы — время отъезда. Слава Богу! Я твердо сказал:

— Пора, Михаил Александрович.

— Вот проклятые капиталисты, торгуют всякой ерундой — не вино, а вода, — сердито проговорил Шолохов.

Но обман все-таки раскрылся. Позже Малику рассказали, что Шолохов обо всем узнал и не мог ему этого простить.

— Поэтому-то и боюсь с ним встречаться, — рассмехался под конец Малик.

В больнице Шолохов не пил. Его жена, Мария Петровна, часто со мной разговаривала довольно откровенно. Однажды попросила:

— Прасковья Николаевна, я вас умоляю. Подержите его подольше, посмотрите, какой он стал!

Он действительно поправился, порозовел, повеселел.

Выписываясь из больницы, Шолохов подарил мне на прощание два тома «Тихого Дона» с дарственной надписью:

*Дорогой Прасковье Николаевне Мошенцевой
с самой сердечной благодарностью.*

Самый дисциплинированный бывший больной

*М. Шолохов
6.3.1968 год.*

УСЫ БУДЕННОГО

Семен Михайлович поступил в терапевтическое отделение с нарушением сердечно-сосудистой системы и с переломом бедра.

Обычно больным с комбинированным заболеванием полагалось два лечащих врача. Так было и с Буденным. Его лечили Карева Татьяна Павловна — терапевт и я — хирург. Лечение протекало благополучно. Семен Михайлович поправлялся.

Был выходной весенний день. Солнце ярко освещало палату больного. За прикрытым окном весело щебетали птицы, доносился чарующий аромат роз, которых много было посажено на нашем маленьком «пяточке» — площадке перед окнами палат. И так совпало, что в этот день дежурили два лечащих врача Семена Михайловича. Не сговариваясь, мы с Татьяной Павловной одновременно вошли в палату с обходом.

Настроение у пациента было хорошее. Обрадовавшись нашему приходу, он стал рассказывать что-то из своей прежней боевой жизни, при этом, как всегда, шутил.

Мы знали, что Буденный был легендой еще до революции, но удесятерил свою славу после нее. Под напором конницы Буденного сдались и Ростов, и казачья столица Новочеркасск, и многие другие. Известна его фраза тех лет: «Да, по мне, все равно, какой фронт, мое дело рубать».

Его называли «красным Мюратом». Его называли «советским Маккензи».

Ходили сплетни о его первой жене: или она застрелилась сама, или он застрелил ее в припадке ревности. Говорили, что не заступился он и за вторую свою жену, красавицу-певицу Ольгу Михайлову, которую посадили как шпионку. Не знаю, выпустили

ли. Когда он лежал в нашей больнице, его навещала третья жена, Мария Васильевна, у них и дети были. Буденный нам нравился.

— Знаете, милые дамы, — рассказывал он. — Я смолоду мечтал стать коннозаводчиком и, наверное, был бы известен этим на весь мир, не менее чем своими воинскими доблестями. Я ведь — солдат-кавалерист с 1903 года, вы не знаете? Участвовал в японской войны, где побеждал в боях с хунхузами. Участвовал и в первой мировой на германском, австрийском, кавказском фронтах.

Я считался самым лучшим наездником не какой-нибудь — кавказской! — кавалерийской дивизии. Верховой езде учился в петербургской школе. Я — конник-профессионал. Попади в свое время не на фронты, а на конные состязания, был бы первым среди первых мирового класса кавалеристов. Да... Но случилось по-другому. В 1917 году мне было тридцать четыре. Меня вот-вот должны были произвести в офицеры. Но я решительно и сознательно выбрал революцию, а в ней большевиков...

Я решил, — посмеивался он, — что лучше быть маршалом в Красной Армии, чем офицером в белой.

Мы во все глаза смотрели на этого доброго, простого, открытого человека и не верили, что перед нами Маршал Советского Союза, легендарный герой Красной Армии, о котором так много сложено песен.

Я впервые заметила, что у маршала один ус черный, а второй белый — седой.

— Семен Михайлович, а почему у вас усы разного цвета? — вырвался у меня вопрос.

Он улыбнулся, машинально прикрыв ладонью белый ус, и произнес чуть смущенно:

— Ах, шут возьми, не успел покрасить.

И рассказал историю про свои усы. Однажды шел бой с белогвардейцами. Пошли в атаку. Кони ржали под наездниками, поднимались на дыбы, раздавались крики «в бой», «в атаку»! Пули жужжали то слева, то справа.

И в разгар этого боя Семен Михайлович ощутил обжигающую боль с одной стороны лица. Но до таких ли мелочей было тогда? После боя Буденный заметил, что на него пристально поглядывают бойцы. Оказывается, на его лице остался лишь один черный, как всегда, закрученный кверху ус. А где же второй? Его не было. Он сгорел во время боя. С тех пор на этом месте всегда вырастал не черный, а белый ус. Семен Михайлович вздохнул и хитровато сказал:

— Ну, что делать, приходится этот ус подкрашивать. Не оставаться же легендарному маршалу без своих роскошных усов!

БУДДА И ЦЕДЕНБАЛ

Этот странный Будда как будто смотрит на меня по ночам и тихо качает головой. Кажется, он стоит в моей комнате с незапамятных времен. Пытаюсь вспомнить, когда он появился.

Я только вышла из операционной, как подбегает ко мне заведующий хирургическим отделением Иван Васильевич Дьячков и просит пойти с ним в отсек, где лежит Юмжагийн Цеденбал. В нашей больнице лечились и больные из других стран. Бывали и диковинные случаи. Когда первое лицо Монгольской Народной Республики находилось у нас на лечении, его палату всегда охраняли монголы с шашками наголо. Страшновато было проходить мимо палаты. К тому же больница охранялась при входе, и без про-

пуска в нее никто не мог пройти, даже мы, врачи, хотя всех нас знали в лицо. Внутри больницы охрана выставлялась исключительно редко.

Только мы приблизились к двери, как два охранника по обе стороны скрестили свои шашки. «Прямо как в восточной сказке», — подумала я. Иван Васильевич что-то сказал по-монгольски, и нас пропустили.

Пациенту необходимо было внутривенное вливание, но вены плохо просматривались, и заведующий отделением не мог в них попасть, вот и призвал на помощь меня. С детства у меня были очень чувствительные руки. Меня даже экстрасенсы исследовали. Были случаи, когда при плохом освещении во время операции брюшной полости я отличала один орган от другого только по ощущению, с помощью пальцев. Мне всегда это было несложно. Руки заменяли мне глаза. Я могла оперировать практически вслепую. Профессора знали о моем таланте и при сложных операциях всегда брали меня в ассистенты. Так случилось и на этот раз. Сделав все необходимое, я вышла из палаты.

Через три недели мы случайно встретились с Цеденбалом и его женой в спецполиклинике. Они бросились ко мне, стали благодарить за помощь и вручили визитную карточку, на обратной стороне которой было написано: «Всю жизнь будем помнить Вас. Спасибо».

Вот уж не думала не гадала, что Цеденбал меня запомнил, слишком в тяжелом состоянии он находился. Однако запомнил.

Цеденбал прекрасно говорил по-русски, что неудивительно: у него была русская жена. Они пригласили меня в гости (в то время жили они на Кутузовском проспекте). Я не воспользовалась этим приглашением, нам было запрещено встречаться с

иностранцами, тем более ходить к ним в гости. И все же мне было приятно получить благодарность от столь известной персоны за столь незначительную услугу с моей стороны.

Цеденбал и подарил мне скульптурку Будды. В нашей больнице подарки принимать было запрещено...

Но меня вызвал главный врач и сказал:

— Этот подарок вы должны принять.

Что было делать? Я согласилась.

ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ МАРШАЛА ВАСИЛЕВСКОГО

Почти все мои больные — все-таки люди необыкновенные. И чтобы ни писали сегодня, я вспоминаю о них с благоговением. До Кремлевской больницы подобных людей я просто не встречала. Особенно это касается наших военачальников: Рокоссовского, Баграмяна, Воронова, Соколовского, Василевского... Все они в тот или иной период были моими больными. И в каждом из них сочеталось почти несоединимое: твердость, бесстрашие, прямота. А с другой стороны: мягкость в обращении с людьми, умение понять другого, доброта, снисходительность.

Мы знали, что маршал Василевский неизлечимо болен. Рак. Это не было секретом и для него самого. Но не помню случая, чтобы он потерял самообладание или надолго погрузился в свои переживания. Напротив, он был внимателен к окружающим, никогда не срывал на них дурного настроения, поводы для которого у него были, как у всякого больного.

Александр Михайлович был хорошим семьянином, что особенно мне нравится в мужчинах и, к сожалению, не так уж часто встречается в жизни.

Сдружил меня с маршалом один случай. Как-то в мое дежурство пришла его навестить жена. Ну а мы, врачи, всегда смотрим на человека прежде всего как на больного. Я заметила, что с женой маршала не все в порядке. На медицинском языке это звучит так: признаки нарушения функции головного мозга — неустойчивость походки, плохая память, возбудимость психики. Позже я спросила Александра Михайловича: «Что с вашей женой?» Он тяжело вздохнул и сказал: «Это уже необратимо». В следующий раз с какой-то глубокой внутренней нежностью он подвел ко мне свою жену и познакомил нас.

Я еще раз посмотрела на нее очень внимательно и каким-то тридевятым чувством усомнилась в справедливости приговора психиатров и невропатологов. А надо заметить, что с самого начала врачебной практики у меня необычайно сильно была развита интуиция, я обладала даром предвидения. Даже могла предсказать, в какой день мой больной умрет. И в этот раз интуиция подсказала мне, что диагноз поставлен неверно. У жены Василевского — другая болезнь. Свое сомнение я высказала маршалу. Посоветовала ему непременно проконсультировать жену у заведующего неврологическим отделением нашей больницы Работалова, которому я верила больше, чем какому-нибудь академику. Когда случались у нас консилиумы, он неизменно побеждал в определении диагноза, а рекомендованное им лечение всегда приносило успех.

Я по-товарищески попросила своего коллегу посмотреть жену Василевского. И что же? Интуиция не подвела меня и на этот раз. Работалов обнаружил у больной доброкачественную опухоль головного мозга. Наличие психического заболевания решительно отверг. Он посоветовал маршалу положить

супругу в нейрохирургическую клинику. Василевский так и сделал. У больной действительно была обнаружена киста на головном мозге. Сделали операцию, кисту вырезали. Жена Василевского стала поправляться. Александр Михайлович был счастлив безмерно. Благодарил не только Работалова, но и меня за то, что я усомнилась в болезни и подсказала решение. И, конечно, за то, что не прошла мимо, не осталась равнодушной к беде его близкого человека.

Самому же Василевскому оставалось жить недолго. Мы продолжали лечить его уже дома. Я приезжала к нему, когда наступало время проводить очередной курс лечения. Приятно было видеть его помолодевшую супругу. Да и сам Александр Михайлович, хоть и временно, но чувствовал себя значительно лучше. Как правило, Василевский говорил мне с улыбкой:

— Прасковья Николаевна, дайте мне возможность закончить книгу об Отечественной войне. Потомки будут благодарны вам за это.

Я старалась шутить, отвечала, что такой симулянт напишет еще не одну книгу, мол, и беспокоиться не о чем. А сама молилась про себя и думала: хорошо бы он успел!

Сейчас мало кто знает, что Александр Михайлович — не просто маршал, а герой Отечественной войны в буквальном смысле этого слова. Это он командовал 3-м Белорусским фронтом, затем — советскими войсками на Дальнем Востоке, когда была разгромлена Квантунская армия. После войны он был министром Вооруженных Сил Советского Союза.

Василевский работал над книгой в конце 70-х, когда многие исторические события, особенно события войны, пересматривались. Ему было трудно.

Невзирая на мои запреты, он работал день и ночь, даже сам печатал. Книгу он написать успел.

Как-то в мое отделение позвонил дежурный:

— Прасковья Николаевна, в комендатуре для вас лежит подарок. Уходя домой, не забудьте забрать его.

Это была обещанная книга. Книга маршала Василевского.

МАРК РЕЙЗЕН И ИОСИФ СТАЛИН

Прочитала в газете, что 29 ноября 1992 года на 95-м году ушел из жизни замечательный певец Большого театра Марк Иосифович Рейзен. Артисты Большого театра называли его неповторимый бас «бархатным».

Я познакомилась с ним в Кремлевской больнице много лет назад. Тогда ему была сделана операция по поводу острого аппендицита. Шли третьи сутки после операции. В этот день я только приступила к работе после отпуска. Выпало ночное дежурство. Среди тяжелых больных Рейзен не значился. Стало быть, послеоперационный период протекал благополучно. Лечащие его врачи ушли по домам. И вдруг... Прибегает в мой кабинет дежурная медсестра:

— С Рейзенем плохо! Прасковья Николаевна, скорей!

Я побежала в палату. Действительно, у больного поднялась температура, появились боли в животе, другие симптомы. Короче, случилось послеоперационное осложнение. Я поняла, что необходима срочная повторная операция. Марк Иосифович был спокоен, волновался. Но операцию перенес хорошо. После повторной операции он буквально стал

«обожествлять» меня, видя во мне даже не врача, а просто человека, который пришел к нему на помощь в самую тяжелую минуту жизни... Так случается, особенно тогда, когда человек смог преодолеть порог риска. В общем, мы стали большими друзьями. В знак благодарности Рейзен подарил мне пластинки, где записана опера «Борис Годунов» в его исполнении, с дарственной надписью.

А когда приглашал к себе в гости, то с удовольствием исполнял для нас с мужем свои любимые арии, а его жена, Рашель, угощала нас очень вкусным пирогом с творогом.

В один из таких вечеров Марк Иосифович рассказал мне любопытный эпизод из своей жизни.

В 1930 году из Ленинграда, где он пел в Мариинском театре, его пригласили в Москву на гастроли в Большой театр. Давали «Князя Игоря». Рейзен исполнял главную партию. Успех был огромный. Публика, стоя, провожала его оглушительными аплодисментами, на сцену сыпались букеты цветов. Конечно, Марк Иосифович был в ударе. Он еще не успел переодеться, как его пригласили в правительственную ложу. Там его встретил сам Иосиф Виссарионович Сталин. Вождь улыбался, похвалил за прекрасное исполнение партии князя Игоря и вдруг задал такой вопрос: «Почему вы поете в Ленинграде, а не в Москве, в Большом театре?»

— Я просто опешил от внезапной встречи с самим Сталиным, буквально потерял дар речи, — рассказывал Рейзен. — Не мог ничего объяснить толком...

Не дождавшись ответа, Сталин сказал: «Ну вот, Марк Иосифович, с завтрашнего дня вы артист не Мариинского, а Большого театра. — И добавил: — Вы меня поняли?»

— От такого неожиданного и категорического

предложения я совсем растерялся, — со смехом продолжал Марк Иосифович. — Только успел вымолвить: «Товарищ Сталин, ведь у меня в Ленинграде жена, дочь, квартира».

Сталин встал с кресла и почти на ходу, не ожидая возражения, сказал полковнику, который стоял навтыяжку рядом с ним: «Чтобы завтра была квартира для артиста Рейзена. Вы меня поняли?»

На другой день в номер гостиницы «Националь», где остановился артист, явился тот же полковник и предложил Рейзену поехать с ним, чтобы посмотреть будущую квартиру.

Машина через пять-семь минут остановилась у подъезда нового дома. Рейзен еще не знал хорошо город, но предположил, что это центр. Действительно, это был центр Москвы.

Квартира состояла из трех больших комнат, двух лоджий, кухни и всего необходимого. Мало того, она не была пустой. Комнаты были обставлены старинной, очень дорогой мебелью, на стенах дорогие картины, в сервантах прекрасная посуда.

— В общем, не квартира, а сказка, — хитро улыбаясь, рассказывал Рейзен. — Я был удивлен, растерян. Опять не верил своим глазам. Сопровождавший меня полковник мило улыбнулся и подчеркнул строго произнес: «Это все ваше». А когда я стал возражать, говоря, что не могу принять такой подарок, он встал по стойке «смирно» и громко и внушительно произнес: «Так приказал Иосиф Виссарионович Сталин!»

А дальше было вот что. Вернувшись в Ленинград, Рейзен сразу же рассказал своей Рашель о сказочной квартире, которая их ждет в Москве. Супруги быстро распродали свою не ахти какую мебель, квартиру сдали Ленсовету и приехали в Москву уже по известному артисту адресу.

Открыли дверь, вошли в квартиру и своим глазам не поверили — она была пуста. Ни мебели, ни картин, ни посуды.

— Надул меня Иосиф Виссарионович, — закончил свою историю Марк Рейзен. — Хорошо еще не посадил!

НЕ НАШ КОНТИНГЕНТ

В то лето в Москве была страшная буря. В Александровском саду деревья вырывало с корнем. Много людей пострадало. Меня вызвали из охраны:

— Прасковья Николаевна! Там женщину принесли.

А больница ведь находилась совсем рядом с Александровским садом. Женщина была в очень тяжелом состоянии. У нее был поврежден череп, видимо, дерево ударило по голове. Ее принесли просто посторонние люди, знали, что здесь находится больница, несмотря на все секреты. Принесли и положили прямо у порога: мол, оказывайте помощь. По инструкции, люди из охраны должны были вызвать «скорую помощь» и отправить ее в другую больницу. Но охранник сразу позвонил мне. Я вышла, посмотрела, поняла, что женщина в тяжелейшем состоянии и ее нельзя никуда везти, она просто умрет по дороге. Я решила положить ее к себе, в хирургическое отделение. Причем свободной была палата, которой распоряжался Чазов. И сразу же мы стали ее оперировать: остановили кровотечение, зашили все, что можно зашить. Прошло два-три дня, она то приходила в сознание, то снова впадала в забытие. Короче, больная была очень тяжелая. Когда все-таки она пришла в себя и стала разговаривать, я спросила:

— Кто вы, откуда вы?

Женщина сказала, что она монашка, служит в церкви недалеко от Киева: продает свечи, иконки, церковную литературу, — и в свою очередь спросила:

— А куда я попала?

Я ответила:

— Вы находитесь в Кремлевской больнице.

Глаза ее округлились, на лице появилось выражение ужаса. Она стала молиться, то и дело осеняя себя крестным знаменем.

— Боже мой! Да Бог меня накажет, что я попала к безбожникам! Господи, помилуй меня!

Постепенно она поправлялась. Я была рада. И ничуть не боялась, что меня накажут за то, что я положила в нашу больницу простую женщину, не относящуюся к нашему контингенту. «Ничего страшного, — успокаивала я себя, — перейду в простую больницу, наплевать. Ведь я врач. Я давала клятву Гиппократу. Я обязана оказать помощь любому пострадавшему».

Я знала, что мне грозят неприятности.

Буквально на следующее утро после того, как монашка попала в нашу больницу, на планерке я доложила, что положила случайную больную. Один из врачей сказал:

— А вы знаете, это не просто случайная больная, она еще и монашка!

Главный врач, который вел планерку, пришел в ужас, он сам не знал, что последует за такой проступок. Он сказал:

— Что ж вы, Прасковья Николаевна, не позвонили в управление? Не согласовали? Это же не наш контингент. В управлении ведь всегда сидит дежурный...

— Я специально никуда не звонила, — ответила я. — Больная умирала на глазах. Как врач я сделала все, что могла..

— Прасковья Николаевна, у вас будут неприятности, — констатировал главный врач.

— Пожалуйста, — сказала я. — Я готова взять на себя вину и уйти в любую другую больницу.

Правда, врачи и сестры мне сочувствовали, они понимали, что я не могла поступить иначе.

Помог случай, как нередко бывало со мной. Начальником управления в то время, а это было начало 60-х, был мой бывший ассистент, еще по Воронежу. Он оказался очень способным, защитил диссертацию, переехал в Москву и стал не кем-нибудь, а начальником четвертого управления. Ко мне он относился по-дружески, знал мое прошлое, ценил меня как профессионала. Думаю, что это сыграло свою роль. Меня не уволили, обошлось и без взысканий. Правда, вызывали в управление. Я повторила свой рассказ снова при высоком начальстве. Помоему, там сидел и представитель КГБ.

Потом, когда моя монашка стала ходить, могла прогуливаться по коридорам, она заглядывала в палаты и поражалась тому, как чисто, светло в палатах, какие прекрасные цветы и так далее. И опять повторяла, что ее накажет Бог за то, что попала к коммунистам-антихристам.

Я ей сказала, слушая ее сетования:

— Ну а меня накажет Бог за то, что я спасла вам жизнь?

Она неожиданно опустилась передо мной на колени и чуть не стала целовать подол моего платья.

— Вам Бог простит все грехи!

Когда она выписывалась из больницы, я ей сказала:

— Я оформила вам больничный лист. Вы же работаете, вам понадобится.

И тут она с яростью бросила этот больничный на пол, стала его топтать ногами:

— Боже сохрани, чтобы я взяла какую-нибудь бумагу от безбожников!

Так мы расстались. Я потом долго вспоминала этот случай. Ну разве это не знак судьбы? Когда-то в юные годы монашка мне помогла не умереть с голоду. Теперь я как бы отдала ей долг.

НАЗИДАНИЕ СТАЛИНА «БОГУ ВОЙНЫ» ВОРОНОВУ

Его привезли в тяжелейшем состоянии. Кровь шла горлом. Непрекращающееся желудочное кровотечение. Вот так в хирургическое отделение экстренной помощи поступил маршал артиллерии Воронов. Он был еще в сознании. Пока шла подготовка к переливанию крови, я раскрыла историю болезни. В ней оказалось больше вопросов, чем ответов. Подробно описывались симптомы заболевания, но окончательного диагноза не было.

Года за два до Отечественной войны Воронов попал в автомобильную аварию и с тех пор периодически испытывал сильные боли в животе. По этому поводу он неоднократно лежал в больницах, в том числе и в нашей. Применялись все доступные по тем временам методы обследования, но причина заболевания так и не была выяснена. Чаще всего ставился диагноз «кишечная непроходимость». После консервативного лечения боли исчезали, однако ненадолго.

Началась война. Воронову, командовавшему артиллерией Вооруженных Сил СССР, было не до собственных болячек. Недаром его величали «богом войны». Но уж очень мучили боли, и маршал изобрел свой метод обезболивания: ложился вниз животом, прижимался к холодной земле — и через какое-то время приходило облегчение. Все это было записано в истории болезни.

Особое внимание привлекла одна запись, привожу ее дословно: «На фронте у маршала с большой силой возобновлялись боли в животе, и никакие лекарства и даже «земной метод» не давали облегчения. Тогда он обратился к И. В. Сталину с просьбой разрешить ему лечь в больницу. Ответ пришел незамедлительно: «Воевать надо, а не ходить по больницам».

Это вынудило Воронова и впредь терпеть адские боли и даже в какой-то степени скрывать свою болезнь.

Изучать дальше историю болезни было бессмысленно. Кровотечение не останавливалось, консервативные методы не помогали. Оставался один выход — срочная операция. Сделали предварительно еще одну попытку установить точный диагноз. Опять неудача.

Когда мы положили Воронова на операционный стол, кровотечение продолжалось. Мы гадали: откуда оно? А когда сделали полостную операцию, увидели, что от поджелудочной железы ничего не осталось. Как он жил? Как он работал? Это совершенно необыкновенный случай. Что-то сверхъестественное! И только потом мы увидели крупные сосуды, которые и брали на себя всю нагрузку поджелудочной железы. Сосуды были увеличены в несколько раз. Обнаружила я также рубцовые изменения и спаечный процесс в брюшной полости. Один из сосудов не выдержал и разорвался. Он и дал кровотечение. Мы стали переливать Воронову кровь. Крови привезли очень много, разных групп. Но организм уже не воспринимал ничего, даже кровь. Ни одна из групп крови не усваивалась. Она не свертывалась. Мы не могли ничего сделать. Он умер прямо на операционном столе.

Откровенно сказать, не только я, но и опериро-

вавший больного профессор Бакулев, и другие хирурги в первый раз встретились с такой патологией. Причиной ее была та самая травма с последующим разрывом поджелудочной железы и развитием панкреатита.

К печальному концу привела и несовершенная диагностика того времени. Заболевание поджелудочной железы можно распознать только с помощью анализа крови. Но бывает, что анализ крови и не показывает болезни. Так случилось с Вороновым. Он не раз лежал в нашей больнице. Анализ крови не показывал на необходимость хирургического вмешательства. Кроме того, этот приказ Сталина — не жестокость ли?

Такой необычный случай в моей врачебной практике побудил меня заняться изучением заболеваний поджелудочной железы. Мной фактически была написана диссертация, которую защитил, однако, другой врач, получивший ученую степень доктора наук. Это тоже беспредел, но несколько в другой области...

Работая во второй больнице, я взялась писать диссертацию по проблемам острого холецистита. Многие больные умирали только оттого, что вовремя не была сделана операция. Инфекция распространялась по всему организму, поражая печень и почки. Это тема была мало изучена в те годы. К нам как раз поступил больной с гепаторенальным синдромом. «Гепатос» — это печень, а «рэналиус» — почки. Оперировал Петровский. Я на операции не присутствовала, это был не мой больной. И, в конце концов, этот больной умер. Умер не от операции, а от осложнений. Петровский очень расстроился. Однажды сказал мне:

— Знаешь, Прасковья Николаевна, займись-ка этой проблемой. Собирай материал для диссертации.

Изучи вопрос: когда необходима операция и почему она дает такие осложнения. Тем более у нас прекрасная лаборатория. Такой в Москве больше нет.

Я, разумеется, согласилась. И начала работать. Работа пошла быстро. Я изучала подробнейшие истории болезни не только нашей больницы, но и первой Кремлевской, собрала богатейший материал. Моими исследованиями заинтересовались крупнейшие урологи.

Я должна была делать доклад в Ленинграде на съезде урологов. Главный хирург больницы, профессор Гуляев, взял в поезде почитать мой доклад. Когда начался съезд, я немного задержалась. Увидела своих коллег из Воронежа. Вхожу в зал, на трибуне стоит Гуляев и читает мой доклад. Позже он сказал, что не нашел меня. Я просто обалдела.

— Как же ты могла такое допустить? — возмутились мои сокурсники...

А что я могла поделать?

ЛЕОНИД УТЕСОВ И КУРИНАЯ НОГА

В один из пасмурных осенних дней в наше хирургическое отделение поступил известный артист эстрады Леонид Утесов. Всегда веселый, жизнерадостный, Леонид Осипович в этот раз был не на шутку встревожен. Конечно, к врачам, да еще к хирургам приходят не на бал. Это всем известно. Однако Утесов и в больнице оставался артистом, старался быть спокойным, уравновешенным и даже шутил. Но нас, «асов хирургии», не проведешь. В его глазах мы читали тревогу и страх. Неудивительно: накануне по Москве прошел слух, что у Утесова обнаружен рак толстой кишки. Конечно, этот слух дошел и до него.

Действительно, в поликлинической истории болезни имелась запись рентгенолога, указывающая на наличие у больного опухолевидного образования, расположенного в самом перегибе сигмовидной кишки, что вызывало частичную кишечную непроходимость. Заключение: опухоль толстой кишки. При первом осмотре общее состояние больного было удовлетворительным. Но в левой половине живота отчетливо прощупывалось плотное образование.

Мы, врачи, как могли успокаивали Утесова. Но вряд ли нам удалось рассеять его худшие подозрения. Операция была неизбежна, больного стали готовить. Пригласили самого известного хирурга из института им. Склифосовского, нашего постоянно консультанта профессора Розанова Бориса Сергеевича.

И вот наступил день операции. Под общим наркозом была вскрыта брюшная полость и, как и предполагалось, сразу же в сигмовидной кишке мы обнаружили плотное опухолевидное образование. Успокаивало лишь то, что в брюшной полости мы не увидели метастазы. Приступили к резекции кишки вместе с опухолью. Операция прошла довольно быстро и без осложнений. Далее наступал черед исследования самой опухоли. Обычно это происходило в предоперационной комнате. Перед тем как отправить «препарат» (удаленную часть кишки вместе с опухолью) на исследование, необходимо было рассечь саму толстую кишку. И тут нас подстерегало нечто из ряда вон выходящее. Скальпель хирурга коснулся чего-то необычайно плотного. Не может быть, что это опухоль! Исследуем дальше. И что же видим? Обыкновенную куриную ногу. Да, да — это была куриная нога, только без лапки.

Во время всего напряженного осмотра в предоперационной стояла мертвая тишина. Но когда вме-

сто опухоли врачи и сестры увидели куриную ногу, раздался неудержимый хохот... Смеялись все: от нянечки до профессора.

Как мы были рады своей ошибке! Во-первых, операция прошла успешно, во-вторых, и самое главное, никакого рака у Утесова не было! Знаменитый артист, видимо, забыл, как на одном из увеселительных вечеров, будучи под хмельком, незаметно проглотил почти целую куриную ногу.

Через короткое время Утесов окончательно выздоровел. Прошло время, но с тех пор, когда мне доводилось слушать его выступления, я всегда улыбалась и вспоминала злосчастную куриную ногу.

«ДИУРЕЗ» ИЗ ПАЛАТЫ НОМЕР 6

Мы, хирурги, помимо основной работы были еще и консультантами в других отделениях больницы. Если срочных вызовов не было, мы эту работу выполняли в конце рабочего дня, когда происходила смена медперсонала: уходили на отдых терапевты, невропатологи, урологи, заканчивались лечебные процедуры. У нас же, хирургов, работа была еще в самом разгаре. За последние годы усложнились операции, они стали более длительными. Кроме того, различные процедуры, работа с аппаратурой — все это отнимало много времени и немало сил. Мы как-то привыкли работать с восьми часов утра до десяти вечера. Иногда и больше этого, не считая ночных дежурств, после которых продолжался рабочий день.

Должна заметить, что, несмотря на напряженную работу, связанную с каждым взмахом скальпеля, хирурги в большинстве своем — оптимисты. Умеют шутить и остро чувствовать состояние больного. Может быть, поэтому отношения с больными у хи-

ругов более раскованные и доверительные, чем у других специалистов.

Так вот. Примерно в шесть часов вечера я направлялась на консультацию в урологическое отделение нашей больницы, которое мне досталось в этот раз. В вестибюле, на переходе от терапевтического к урологическому отделению, увидела группу женщин-пациенток. Они что-то тихо обсуждали, посматривая по сторонам, и явно кого-то ждали. Оказалось, ждали меня. Как только я поравнялась с вполне здоровыми на вид дамами, они окружили меня кольцом и град вопросов посыпался с разных сторон:

— Доктор! Скажите, кто лежит в палате номер 6 урологического отделения? Вы ведь знаете...

Я сразу поняла, кто их интересует, но тайны не раскрыла. Сказала лишь следующее:

— Не знаю, кто там лежит. А собственно, почему вас это интересует?

Одна из дам мне объяснила, что в палате номер 6 лежит какой-то очень красивый молодой мужчина. А когда он выходит из палаты в коридор, прикрывает свое лицо и стремится пробежать незамеченным. Их безумно интересует, что это за персона.

Конечно, я знала, кто этот человек. Я как раз шла к нему. Это был Сергей Яковлевич Лемешев, знаменитый артист Большого театра. В этот момент почему-то вспомнила, что поклонниц Лемешева называли «лемешистками». Одна моя знакомая была в их числе. Обычно целая толпа ждала его у служебного входа в Большой театр. Причем лемешистки буквально дежурили у дверей его театра, у дверей дома, в котором он жил, у всех других дверей, где мог он появиться. Среди лемешисток были как молоденькие девочки, так и странные взрослые жен-

щины, бедно одетые, с сумасшедшими глазами. Это были послевоенные годы. Знакомая говорила, что скудость нашего быта как бы уравнялась тягой к духовной жизни.

Лемешев показался мне изумительным человеком. Создавалось впечатление, что в общении он доступен и прост. Никакого высокомерия, никакой «звездной» болезни. Встречал меня всегда с улыбкой. Всегда вставал с кровати, подавал стул. Обычно говорил:

— Я вас ждал, очень ждал.

А я обычно шутила:

— Ну а вас, как всегда, ждут поклонницы.

Он говорил:

— Вот видите, я специально шарф взял из дома. Когда выхожу из палаты, всегда лицо прячу.

С Лемешевым я встречалась и прежде, правда, случайно. Его дочка болела неврологическим заболеванием и лежала в нашей больнице. Он часто ее навещал. Я тогда еще не была знакома с великим артистом.

Когда я уже выходила из палаты номер 6, женщины все еще стояли в вестибюле и смотрели на меня с обидой.

То же самое повторилось и на другой день. Но в этот раз кремлевские дамы встретили меня, хитро улыбаясь.

— А мы теперь знаем, кто лежит в палате номер 6, — сказала одна из них. — Это какой-то немец, его фамилия Диурез.

Давно я так не смеялась! Ну и ну! И все же спросила:

— Откуда вам это известно?

Оказывается, движимые любопытством, мои милые дамы заглянули даже в туалет. Там стояла бутылка с мочой, собранная на анализ, на которой и

было написано «Диурез». Это название одного из анализов.

Вот так кремлевские дамы окрестили Сергея Яковлевича Лемешева. Как видите, и в нашей работе бывают случаи презабавные.

ПОЛЬ РОБСОН

Услышала по радио: исполнилось сто лет со дня рождения американского певца Поля Робсона. Рассказывали о его жизни, о частых приездах в Советский Союз, о том, каким прекрасным голосом он обладал и как был любим в нашей стране. Добавили, что не все было просто в его судьбе. Обнаружились сведения, что в один из своих приездов в Москву Поль Робсон захотел увидеть своих друзей: Михоэlsa и одного еврейского писателя. Но встретиться с ними было невозможно. Михоэлс был убит, а писатель сидел в тюрьме. Чтобы у заокеанского друга не возникло подозрений, писателя специально привезли из тюрьмы на свидание к Полю Робсону. И якобы с этого времени Поль Робсон стал бывать в Москве гораздо реже.

Мне же вспоминается другое. Обычный день в Кремлевской больнице. Обычное дежурство в хирургическом отделении. Срочный вызов. Из гостиницы «Москва» «скорая помощь» привозит Поля Робсона. Зрелище — ужасное. Одежда окровавлена, на обеих руках — жгуты, состояние заторможенное, но сознание еще теплится. Сколько он потерял крови, по беглому осмотру судить было трудно. Сестры переодели певца, срочно взяли кровь на анализ и тут же перевезли в операционную. Оперировать пришлось мне вместе с доктором Резниковым. После тщательного осмотра мы обнаружили глубокие ре-

занные раны на внутренней поверхности плеча и предплечья, особенно много было порезов на месте сгиба обеих рук. Перерезаны были не только вены, но и артерии, что затрудняло восстановление потери крови. Невозможно было применить непосредственное внутривенное вливание. Кровь вливалась в вену и тут же через рассеченные артерии выходила обратно. Причем порезы были даже на шее. Сшивать сосуды было очень трудно. Тогда еще не было сшивающих аппаратов. Приходилось все делать руками. Мелкие сосудики мы скрепляли между собой тоненькой иголочкой, чтобы не случилось омертвления руки.

Операция длилась несколько часов, проходила под местным наркозом. На наших глазах состояние больного постепенно улучшалось: восстановилось нормальное кровообращение в руках. Казалось, все самое страшное осталось позади. Мы перевезли Робсона в послеоперационную изолированную палату.

Но как расценивать столь невероятное происшествие? Что с певцом случилось? Почему он решился на самоубийство? В том, что это была попытка самоубийства, у нас, врачей, не было никаких сомнений. Но что заставило этого замечательного человека, великого певца пойти на такой шаг, да еще в дружественной стране, где его искренне любили?

На второй день после операции был срочно созван консилиум. Присутствовали ведущие хирурги Кремлевской больницы во главе с профессором Бакулевым, я как лечащий врач, просто хирурги и специально приглашенные по этому случаю знаменитости в медицинском мире: главный психиатр Советского Союза профессор Снежневский и главный терапевт Виноградов. Снова проводилось тщательное обследование больного. Но каких-либо отклонений со стороны психики не обнаружилось. Врачи

высказали единственное предположение: Поль Робсон совершил попытку самоубийства под влиянием принятого неизвестного допинга. Заключение консилиума было однозначным.

Позже обнаружили другие немаловажные обстоятельства. Оказывается, накануне трагедии Поль Робсон был в американском посольстве на приеме у посла для получения визы в Китай, куда он собирался на гастроли. Но в визе ему отказали. Обо всем этом рассказывал переводчик певца еще во время консилиума. В тот злополучный вечер он был в прямом смысле рядом с Полем Робсоном — в соседнем номере гостиницы. По свидетельству переводчика, Поля Робсона посетили какие-то «дипломаты», не то арабы, не то африканцы (он точно не знал). Разговаривали на родном языке, поэтому переводчик ушел в свой номер. Примерно часа через два за стеной стали раздаваться громкие голоса, крики и даже брань, сопровождаемая угрозами. Потом стало необычайно тихо, что показалось переводчику подозрительным. Гости явно покинули хозяина. Еще через несколько минут переводчик услышал глухой стук, какой бывает от падения тяжелого предмета, и короткий стон. Стремглав он бросился в номер Поля Робсона. Певца не было видно, на столе стояли бутылки из-под минеральной воды и вина, остатки пищи. Обращали на себя внимание открытая дверь и свет в ванной комнате. Он бросился туда и буквально не поверил своим глазам: на полу лежал окровавленный Поль Робсон, а рядом с ним валялась опасная бритва. Переводчик бросился к телефону и вызвал «скорую помощь» из нашей спецполиклиники. Дальнейшие события описаны выше.

На третий день после операции прилетела из Англии жена Поля Робсона. Она с сильным акцентом, но вполне сносно говорила по-русски и

определенно подтвердила, что супруг ее никогда не страдал психическими заболеваниями. Кроме того, она призналась, что в последнее время к ним плохо относились в Америке, видимо, из-за привязанности к Советскому Союзу. Именно поэтому они были вынуждены покинуть Соединенные Штаты и переехать на постоянное местожительство в Англию.

Через пять-шесть дней после операции Поль Робсон, кажется, поправился окончательно. Сделался веселым, общительным, но ни разу не упомянул о происшедшем с ним несчастье. Я тоже ни о чем не расспрашивала и не проявляла любопытства.

В один прекрасный день я присела у его кровати. Он казался мне почти здоровым. Неожиданно сказал:

— Прасковья, хотите, я вам спою свою любимую арию... Из оперы «Отелло».

И, не дождавшись ответа, запел, да так громко, что сбежался весь медицинский персонал. Хорошо, что он лежал в изолированной палате и рядом не было больных. Пел он прекрасно. Я прозвала его африканским Шаляпиным.

В другой раз то ли в шутку, то ли всерьез сказал:

— Прасковья! Вы, наверное, думаете, что я миллионер. Ну, ну! Это жена у меня миллионер. А я никогда не интересовался, есть ли у меня деньги.

Прощались мы как друзья. Без лишних слов он протянул мне руки, а потом как-то порывисто обнял. Я заметила на его глазах слезы.

Прошло несколько месяцев, может быть, и год. Я узнала, что в семье Поля Робсона трагедия повторилась. С высокого этажа гостиницы «Москва» пытался выброситься сын певца. Его удалось спасти. Положили не в «кремлевку», а в психиатрическую больницу им. Соловьева. Что было дальше с Робсо-

нами, я не знала... Да и вообще ничего не слышала о них в последующие двадцать, а то и больше лет. И вот вспомнили — со дня рождения моего африканского Шаляпина прошло уже сто лет. Грустно.

БЕЛЫЙ ГРИБ ОТ АРХИТЕКТОРА ВЛАСОВА

Опять не спится. Включаю ночник. Печально качает головой Будда, что стоит на телевизоре. А на стене напротив кровати высвечивается натюрморт: огромный белый гриб на фоне газеты. Смотрю на гриб, и всплывает передо мной лицо еще одного кремлевского больного, Александра Васильевича Власова. В полумраке комнаты будто слышу его голос:

— Прасковья Николаевна! Примите от меня в подарок эту акварель. Знаете, как я нарисовал ее? Был юбилей художника Левитана, которого я очень люблю. В тот день я гулял в лесу и нашел белый гриб, удивительный. Весом, наверное, больше килограмма. Я принес его домой, положил почему-то на газету со статьей в честь Левитана и нарисовал этот натюрморт. Я знаю, как вы любите природу. Возьмите.

Хотя нет, я, кажется, путаю, — акварель принесла жена архитектора Власова, когда он уже выписался. Сейчас вряд ли кто помнит об этом удивительном человеке. В 50-х годах он был главным архитектором Москвы. Это по его проекту построен Крымский мост, стадион в Лужниках, самые красивые ансамбли в Парке культуры... Но на его долю выпали тяжкие испытания.

Это было в конце 50-х. Днем «скорая помощь» привезла умирающего человека. Это был архитектор Власов. Диагноз угрожающий — «острый ганг-

ренозный панкреатит. Срочная операция». При повторном осмотре диагноз подтвердился. Когда больного стали оперировать, оказалось, что от поджелудочной железы осталась только некротическая масса, которую в буквальном смысле пришлось вычерпывать ложкой. Таким образом, Власов фактически остался без поджелудочной железы. А как человеку жить без поджелудочной железы? Исход один — смерть. Но мы не дали ему умереть. Вводили в организм специальные гормоны, которые как бы выполняли роль поджелудочной железы, и, конечно, сердечно-сосудистые препараты. Операцию архитектор перенес. Но жизнь его по-прежнему висела на волоске. Я была его лечащим врачом. Трое суток не отходила от него ни на шаг. И вот на исходе третьих суток наступило улучшение. Можно было перевести дыхание. Но я твердо знала: ни в коем случае нельзя пропустить или задержать хоть на минуту время введения лекарств. Если это случится, наступит конец. Я самоотверженно дежурила у его постели еще несколько дней и ночей. Практически не выходила из больницы. И о чудо! На двенадцатый день мой больной встал на ноги.

Я решила взять несколько выходных, поехать на свой садовый участок, расположенный в Подмосковье, недалеко от города Чехова...

— И где же вы собираетесь отдыхать? — спросил Власов, когда я стала прощаться с ним.

— Ох, Александр Васильевич, если б вы только видели эту красоту! — ответила я и подробно рассказала о наших дачных местах.

Власов сначала как будто сник, смотрел на меня грустно, потом сказал:

— Знали бы, Прасковья Николаевна, как я люблю природу... И именно подмосковные леса, луга, реки. А больше всего на свете люблю собирать бе-

лые грибы. Нет, не есть. А именно собирать. Ведь они растут не поодиночке, а как бы маленькими дружными семейками, потому и хороши.

Произнеся свой монолог, Власов даже оживился и пожелал мне хорошего отдыха.

Когда я приехала на дачу и пошла в лес, мысли мои все равно были заняты моим пациентом. Как он там? Не стало ли хуже? Но природа — надежный лекарь. Стоял июнь. Березовая роща, поляны крупных ромашек в тени мощных дубов, море колокольчиков, незабудок, трели соловья — все это отвлекло меня от грустных мыслей. Появились в лесу и белые грибы — колосовики, да так много, что мы не успевали их собирать. Сбегали домой за ведрами и корзинами. Казалось, и этого не хватит, так много было грибов. Я опять вспомнила Власова. Решила преподнести своему больному сюрприз: нашла группу маленьких белых грибов, красиво расположенных во мху. Вырезала ножом этот кусочек мха вместе с землей и грибами и завернула в бумагу.

Пронеслись мои выходные. В больнице первым делом я зашла к Власову и преподнесла свой презент. Не могу передать словами, как он обрадовался! Положил грибное чудо на тумбочку, долго смотрел то на него, то на меня, и даже в глазах его блеснула слеза. Мне казалось, что с этого дня он как-то повеселел, как будто поверил, что жизнь его продолжается.

Но история на этом не закончилась. Примерно через три-четыре месяца после Власова на операционный стол попал один сотрудник Госбезопасности. Выяснилось, что одно время он работал вместе с Власовым во Франции, был его переводчиком и телохранителем одновременно. Заболевание его оказалось серьезным — острый калькулезный холе-

цистит. Пришлось удалять желчный пузырь. После операции он и рассказал мне, как случилось, что у Власова практически не оказалось поджелудочной железы.

В середине 50-х Власов проектировал и строил высотные дома: университет на Ленинских горах, МИД на Садовом кольце, гостиницу «Украина» на Кутузовском и еще три подобных здания в разных районах Москвы.

Тогда же Александр Васильевич с группой архитекторов был приглашен в Париж на научную конференцию. Буквально на второй или третий день по приезде в Париж появилась разгромная статья Хрущева в газете «Правда» под заголовком «Излишества в архитектуре». Главным виновником всех излишеств в статье был назван Власов, и грязь лилась на его почтенную голову ушатами. Видимо, парижские спецслужбы воспользовались этим случаем и стали настоятельно уговаривать московского архитектора остаться во Франции. Власов категорически отказался. Тогда представители спецслужб решили выкрасть Власова и уже путем шантажа заставить принять их предложение.

Научная конференция подходила к концу, когда однажды на одной из парижских улиц несколько человек остановили посольскую машину, в которой ехал Власов. Кроме водителя, в машине находился переводчик и телохранитель архитектора и, как выяснилось позже, по совместительству сотрудник КГБ.

— Я ведь бывший боксер, — рассказывал мой пациент в больнице. — Тогда я был сильным, рослым человеком, с хорошо развитой мускулатурой. Когда агенты попытались силой вытащить Власова из машины, я успел схватить его за руки, они же уцепились за ноги. Так и тянули в разные сторо-

ны. Но я все-таки взял верх. Каким-то чудом втащил в машину Власова. Шофер включил большую скорость. И представьте: со сломанной, открытой дверью мы ринулись вперед. Вот тогда, наверное, и случилось непоправимое. Власов потерял сознание. Наверное, в этот момент и разорвалась поджелудочная железа.

Здесь он прервал свой рассказ и грустно уставился в окно. Остальное было известно: Власов на самолете был доставлен в Москву, с разорванной поджелудочной железой. С аэродрома «скорая помощь» привезла его в нашу больницу.

После выписки из «кремлевки» Власов прожил недолго. Он умер в 62 года. А мог бы еще жить и строить...

ВЫСТРЕЛ ЛЕОНИДА СОБОЛЕВА

Случалось, что попадали в нашу больницу и безнадежные больные, которые были обречены и знали об этом. Так было с известным писателем Леонидом Соболевым.

Большой, красивый человек, он знал, что никто и ничто ему уже не поможет. Врачи поликлиники с большим трудом уговорили его лечь в наше отделение. Запущенный рак желудка... И все же мы пошли на операцию.

Только вскрыли брюшную полость, сразу увидели эти страшные метастазы. Все было бесполезно. Мы не стали ничего удалять, просто зашили. На следующий день я сказала Леониду Сергеевичу, что желудок нужно лечить терапией, идет язвенный процесс. Но думаю, что он обо всем догадался. В таких случаях мы всегда старались ободрять больных... Как могли, внушали, что за жизнь надо бороться и что каждый прожитый день — это подарок

судьбы. Обнадеживали тем, что могут открыть новые лекарства и надо надеяться на лучшее.

Внешне Соболев был спокоен. Думаю, сказывалась морская закваска. Сам себя он называл гарде-марином...

Однажды с грустью сказал: «Всею в жизни приходит конец. Жаль, собака моя останется без хозяина...» А потом вдруг рассказал случай, произошедший с ним во время службы на флоте.

Это было в 30-е годы. Судно, на котором проходил службу Соболев, курсировало на границе с Прибалтикой. Один из краснофлотцев-пограничников заметил странную собаку, которая появлялась то на территории России, то на земле Эстонии. Краснофлотец был бдительным человеком, собака показалась ему подозрительной. Он выстрелил в нее. Но не попал. Но спустя время действительно на одной из дач в Эстонии была обнаружена собака-«перебежчица». В ее ошейнике нашли секретную переписку. Донесения передавались из Ленинграда в Эстонию. И передавала их хорошо тренированная собака.

— Интуиция не подвела краснофлотца, — заметил Леонид Сергеевич. — Интуиция — вообще великое дело. Вот и я чувствую, что скоро и моя собака погибнет...

Недели через две после выписки из больницы писатель пригласил меня к себе на дачу в Переделкино. Меня удивила архитектура дома. На верхнем этаже была построена округлая веранда, похожая на капитанский мостик. Создавалось впечатление, что сам дом похож на корабль. На этой удивительной веранде стоял большой письменный стол, за которым Леонид Сергеевич работал.

Я подумала тогда, что недаром его знаменитая книга называется «Морская душа». Соболев бе-

зумно любил море. Как лечащий врач я стала бывать в этом доме-корабле довольно часто. Леонид Сергеевич всегда встречал меня приветливо. О болезни мы почти не разговаривали. Но однажды, когда я осматривала его в очередной раз, он сказал:

— Прасковья Николаевна! Ну мы ведь с вами хорошо друг друга понимаем. И нечего друг от друга скрывать правду.

Что я могла сказать ему в ответ?

В 1971 году Леонид Соболев застрелился на своей даче. В газетах об этом не сообщалось. В некрологах писали как обычно: скончался после тяжелой продолжительной болезни...

В завещании писатель просил развеять его прах над морем.

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАСА

В нашу больницу Максим Дормидонтович Михайлов, знаменитый бас Большого театра, народный артист, попал уже в преклонном возрасте. У него было тяжелое заболевание сосудов. Практически омертвел большой палец правой ноги. А это могло привести к печальным последствиям. Несмотря на болезнь и возраст, Михайлов продолжал петь в Большом театре.

Когда я увидела его в больнице, в ушах словно зазвучал его прекрасный голос. Надо сказать, в Большом театре я бывала часто: с мужем или детьми. Поход в Большой всегда был для нас праздником, торжественным событием. Мы наслаждались Сусаниным, Кончаком, Варяжским гостем в исполнении Михайлова. А как он пел «Вдоль по Питерской», «Шотландскую застольную»! Великолепный певец!

Его любили не только поклонники. Весь персонал больницы просто боготворил этого человека — открытого, щедрого, любящего жизнь во всех ее проявлениях.

Он рассказывал мне о детстве, о деревне Кольцовка в Чувашии, где родился. О том, как приехал в Москву учиться. Я слушала его с особым интересом: в чем-то наши судьбы были похожи. И я, и он — из деревни. Мне казалось, что душа его тоскует по родным местам так же, как и моя. Несмотря на славу и успехи.

...Лечение продвигалось медленно. В привилегированной нашей больнице не нашлось лекарства, которое могло бы остановить процесс распространения некроза. Такого препарата вообще не было в Советском Союзе. Достать его можно было только за границей.

Что делать? Я позвонила в Большой театр, честно говоря, без всякой надежды. О нравах в артистической среде мы были наслышаны. Но... На этот раз произошло чудо. Михайлову вызвался помочь Иван Семенович Козловский. Сначала в театре узнали, в какой стране производится нужное лекарство. И уже потом Козловский с большими хлопотами достал его через посольство. Михайлов был спасен. Как шутили мы между собой, великий тенор помог знаменитому басу.

АНЕКДОТ ОТ ХРУЩЕВА

Здание первой Кремлевской больницы казалось мне неприметным, серым. Разве что зимний сад наверху делал его привлекательным. На первом этаже, как и положено, размещались приемное отделение и еще три палаты типа изолятора. Они за-

полнялись, когда не хватало мест, в другое время эти палаты вообще пустовали. Никаких особенных роскошеств в палатах не было. Первое время даже туалет находился в коридоре. Правда, у самых высокопоставленных больных в палатах устанавливались телефоны. На стене — непременно аппараты с кислородом. Потом больницу перестроили таким образом, чтобы при каждой палате были ванная комната и туалет. В основном в палатах лежало по одному человеку. Были и особые апартаменты, называемые «отсек». В этот «отсек» обычно госпитализировали, как принято было у нас говорить, только самый высший контингент. В основном это были руководители правительства. Они находились под особой охраной, как бы за двойным кордоном. Одна бригада, состоявшая примерно из пяти человек, стояла при входе на территорию больницы и управления. Через этот вход проходили врачи и служащие больницы, предъявляя свой пропуск. Здесь же выписывались и проверялись пропуска всем посетителям. Вторая, более засекреченная, стояла со стороны Нового Арбата. Это был вход и выход для наиболее ответственных лиц. Здесь днем и ночью обычно дежурили два охранника. Вход в «отсек» для медперсонала и другой obsługi был резко ограничен. А так — больница как больница. Ничего особенного. Во всяком случае, так мне казалось.

Правда, во дворе рядом с больницей стоял старинный, очень красивый дом — с огромными колоннами и мраморными лестницами. Как говорили, в прошлом веке здесь размещалось Офицерское собрание. В советскую эпоху здание перешло к четвертому Главному управлению. Внизу устроили шикарную столовую для членов ЦК и правительства. Я часто видела, как в обеденные часы к

крыльцу подъезжали черные машины, из которых выходили государственные особы. На втором этаже размещалась аптека для высокопоставленных лиц, единственная в своем роде. Здесь можно было купить все лекарства, недоступные простым смертным. Мало того, рядом с аптекой устроили лабораторию, где все препараты, особенно импортные, проходили тщательную проверку. Все это скрывалось от глаз народа. Советская элита жила по своим правилам, своей особой спецжизнью. Каким-то краем эта «спецжизнь» касалась и нас — обслуживающего персонала. В больнице был тоже специальный буфет. А в старинной церкви, которая, кажется, называлась церковью Дмитрия Солунского, внизу сделали столовую для персонала больницы. Но я туда обедать не ходила. Дело в том, что мы, хирурги, не имели права выходить из своего здания. А вдруг что-то случится с больным? Меня позовут, а я обедаю? Так что спецстоловой мы были лишены, еду брали с собой. Правда, когда дежурили сутками, обед нам приносили в ординаторскую.

Меня часто спрашивают сегодня, лечила ли я наших вождей, помимо Сталина. Не боязно ли было общаться с ними? Испытывала ли я волнение, когда видела Брежнева или Хрущева? Да нет, пожалуй. Все-таки наша больница была самой лучшей в стране. Лучше просто и быть не могло. Когда к нам приезжали врачи из-за рубежа, они всегда поражались нашему близкому, почти родственному отношению к больному. Они не могли этого понять. И больные, несмотря на свои высокие посты и ранги, по-моему, относились к нам так же. Редко когда говорили: «Доктор, сделайте мне то или это». Чаше обращались по-другому: «Прасковья Николаевна, милая, помогите...»



Народная артистка СССР, лауреат Госпремии
А. А. Яблочкина у себя дома



Лидия Русланова. Когда она вышла из заключения, я была приглашена на первый же ее концерт...



Леонид Утесов.

Даже находясь в больнице перед операцией,
он старался быть веселым, спокойным, шутил



Марк Рейзен.
После повторной операции
мы с ним стали большими друзьями



Сергей Лемешев.
Когда он выходил из палаты,
всегда закрывал лицо шарфом, спасаясь от поклонниц



Борис Андреев
смог усыпить бдительность кремлевских врачей



Д. Д. Шостакович.
Почти полгода я была его бессменным лечащим врачом



Светлана Аллилуева
на встрече с журналистами



Галина Брежнева с матерью

Никита Сергеевич Хрущев поступил в Кремлевскую больницу вскоре после своей отставки. Он уже не был Первым секретарем ЦК КПСС.

Лечили его терапевты, а я, врач-хирург, приглашалась только для внутривенных вливаний. В то время, да и позже, у нас в больнице был неписанный закон — внутривенное вливание нашим пациентам имел право делать только хирург, да и то не всякий.

Поместили Никиту Сергеевича в большую, светлую палату неврологического отделения, но не в «отсек». Поначалу я удивлялась, почему его положили в неврологическое отделение, а не в терапевтическое? Ведь диагноз был очевидным: инфаркт миокарда. Видимо, Хрущева хотели изолировать от внешнего мира. Причем неврологическое отделение было предварительно освобождено от всех больных и охранялось самым строжайшим образом как при входе, так и при выходе.

Из всех моих посещений бывшего главы государства особенно запомнилось одно. В этот день в окна палаты светило яркое, ласковое солнце. Никита Сергеевич пошел на поправку. Настроение у него, да и у нас — врачей, было хорошее. Лечение подходило к концу, во всяком случае капельные внутривенные вливания. Приоткрыв дверь в палату, я бодро направилась к постели больного. Хрущев читал газету «Правда» и чему-то улыбался. Я решила не мешать. Извинилась, пообещав зайти позже. Но Никита Сергеевич отложил газету.

— Нет, нет, Прасковья Николаевна, не уходите, — проговорил он. — Я вас жду.

— Не хочу вам мешать, — сказала я. — Вы же читаете «Правду».

— Кто же ее читает? — улыбнулся Хрущев. — Я лично только просматриваю ее. Здесь же пишется только про социализм. В общем, одна вода.

Вспомнив обо всех «подписках», я сделала вид, что пропустила эту фразу мимо ушей, и стала готовиться к внутривенному вливанию.

— Хотите, я вам расскажу один анекдот про социализм и воду? — хитровато улыбаясь, продолжал Никита Сергеевич. — Так вот. Как-то в один колхоз из города приехал лектор рассказывать про социализм. Согнали в клуб всех колхозников. На сцене установили стол, накрыли зеленой скатертью, поставили, как полагается, графин с водой и стакан. Лекция началась. Лектор читает час — выпивает один графин воды. Читает второй час — выпивает второй графин воды. Третий час — все про тот же социализм — выпивает третий графин воды. Наконец, лекция закончилась. Все вздохнули с облегчением. Зашевелились колхозники. Председатель колхоза встал, поблагодарил лектора за интересный доклад и обратился к присутствующим: «Товарищи колхозники, у кого какие вопросы будут?» В зале опять тишина. Никто никаких вопросов не задает. Председатель снова повторил: «Товарищи, у кого будут вопросы?» И снова тишина. У председателя заметно стало портиться настроение, и он уже с некоторым раздражением в третий раз сказал: «Ну, товарищи, у кого-нибудь ведь должны быть вопросы?» И вдруг с заднего ряда несмело поднял руку пожилой человек небольшого роста. Председатель обрадовался: наконец-то! Человек поднялся со своего места и обратился с вопросом к лектору: «Уважаемый лектор! Скажите, пожалуйста, вот вы читали про социализм целых три часа, выпили три графина воды и ни разу ссать не сходили! Как же это?»

Хрущев замолчал и испытующе посмотрел на меня. Я же была обескуражена. Финал анекдота резал мне уши, что было написано на моем лице. Хрущев закатился смехом и сказал:

— Теперь вам ясно, что такое социализм? Вода!
Я не вытерпела и с некоторым возмущением возразила:

— Никита Сергеевич! Как вы можете так говорить про социализм?

— А что же это, по-вашему, если не вода?..

Я опять возразила:

— Вы же сами всю жизнь строили социализм и даже обещали нам коммунизм!

— А что мне еще оставалось делать? — развел руками Хрущев.

После этого занятного случая мы еще несколько раз встречались, но уже без капельницы. Никита Сергеевич называл меня «милый доктор» и при этом улыбался своей хитровой улыбкой. Видно, хотел понять, какое впечатление произвел на меня его солонватый анекдот и вообще тема о социализме.

Вспоминаю еще один эпизод. Как-то я зашла в палату к Хрущеву, а она — пустая. Я встревожилась не на шутку. Вставать с постели ему еще было запрещено. Да и вообще куда он мог деться? Отправилась искать. Иду по коридору и слышу из комнаты медсестер громкий разговор и смех.

Открываю дверь и вижу такую картину. Посреди комнаты в кресле, словно на троне, обложенный подушками, восседает Никита Сергеевич. Вокруг него — медицинские сестры, внимающие каждому его слову. Старшая сестра стоит у двери на посту.

Увидев меня, все застыли с виноватыми лицами. Понимали, что серьезно нарушили больничные правила, позволив лежачему больному покинуть палату. Хрущев попытался встать, но не смог, и рассмеялся.

— Ах, уважаемая Прасковья Николаевна, — сказал он. — Очень прошу никого не наказывать: это я

им приказал. Учтите: это последнее мое распоряжение. Теперь ведь я — никто. Знаете, я всегда любил беседовать с простыми людьми. Академики, члены ЦК КПСС и вообще ответственные работники — они какие? Осторожные в высказываниях, любят все усложнять. Прежде чем сказать что-то дельное, все перевернут с ног на голову...

Мне ничего не оставалось делать, как присоединиться к хору слушающих. Никита Сергеевич говорил о пятиэтажках, об освоении целины, о нашем черноземе: как во время войны немцы вывозили его из страны целыми составами, о многом другом. После окончания «тронной речи» я все-таки попросила медсестер отвести своевольного больного обратно в палату.

Уже после смерти Никиты Сергеевича я слышала разговоры о его жене, Нине Петровне: якобы, когда она болела и лежала в «кремлевке», сестры хамили ей, судно не подавали. А она молчала и улыбалась. Но я в эти сплетни не верю.

АДМИРАЛ ФЛОТА И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

В конце 1967 года в мое отделение поступил Николай Герасимович Кузнецов, адмирал флота, Герой Советского Союза. Заболевание у него было не очень серьезное и хирургического вмешательства не требовало.

Николай Герасимович поправлялся, но настроение у него было явно подавленное. Хотя ему разрешено было вставать, он не выходил из палаты, ни с кем не общался. Я спросила, что гнетет его, ведь лечение идет хорошо.

— Нет, нет, — поспешил заверить меня адмирал, — лечением я доволен. Безмерно благодарен вам

не только как врачу, но и как хорошему человеку. Вы — как солнце... Но вы уходите, и я опять остаюсь наедине со своими мыслями.

Я почувствовала, что он хочет что-то рассказать, и задержалась в палате..

— Знаете, Прасковья Николаевна, — продолжал Кузнецов, — бывают такие моменты, когда вроде бы порядочный человек начинает сомневаться в самом себе, в правильности своих поступков. Вот в такой ситуации оказался и я. А причиной тому — моя книга «Накануне». Она очень дорога мне: все описанное пережито лично.

Из дальнейшего рассказа я поняла, что уже готовую книгу Кузнецова редакторы или цензоры заставили переписать, так как в ней были страницы о Сталине, с которым адмирал по роду своей службы неоднократно встречался.

— Но я ничего не придумывал, — говорил адмирал. — Сталин действительно многое сделал для укрепления мощи Военно-Морского Флота, для победы. Я мог бы и не писать о нем. Сам пострадал в 48-м году. Мои недруги написали донос в известные органы, в котором меня обвиняли в передаче секретных документов союзникам во время войны. Я был понижен в звании. Тем не менее роль Сталина в Великой Отечественной войне нельзя не учитывать или преуменьшать. Но, видимо, сегодня эта правда не по вкусу некоторым высокопоставленным лицам. Я опять впал в немилость, и так называемое общественное мнение стало приклеивать мне уничижительные ярлыки. Человек слаб. Под давлением все того же общественного мнения я переписал «Накануне». И что же? Опять те же самые люди в открытую, а чаще за моей спиной называли меня чуть ли не проституткой...

Он помолчал. Вздыхнул и сказал:

— А теперь, когда вам известна история этой книги, рискну подарить ее вам...

Прошло два десятка лет. Адмирала Кузнецова уже давно не было в живых. Однажды, включив радиоприемник, я услышала в какой-то передаче много хороших и громких слов о Николае Герасимовиче. Невольно пришли на память известные строки: «Они любить умеют только мертвых...»

ТРИ ВСТРЕЧИ С ЛЕОНИДОМ БРЕЖНЕВЫМ

Квалифицированная перевязка

Первый раз я увидела Леонида Ильича Брежнева года через два после того, как он стал Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Позвонил главный врач:

— Прасковья Николаевна! Прошу срочно подняться в перевязочную на четвертый этаж!

В перевязочной оказалась только медсестра. Я ни о чем не успела спросить, как открылась дверь и вошел Леонид Ильич. Поздоровался. Следом за ним, запыхавшись, вбежал его личный врач. Кивнув на забинтованную правую руку Брежнева, сказал:

— Сделайте квалифицированную перевязку!

Рана на ладони была обширной, но поверхностной. Края ее воспалились. Я принялась за дело.

Во время перевязки Леонид Ильич шутил, говорил нам с сестрой комплименты, а под конец спросил:

— Доктор, а почему вы не интересуетесь, где это я так приложился? Впрочем, я и так расскажу.

Оказалось, пять дней назад Брежнев охотился на лося. Чтобы обзор был получше, а сам стрелок оставался невидимым, решил забраться на дерево. В самый решающий момент, когда лось выбежал пря-

мо на охотника, сук, на котором сидел Леонид Ильич, обломился... Лось испугался и был таков.

— Знаете, — заключил рассказ Брежнев, — я рад, что лось остался жив и невредим. А рука — ерунда. Заживет.

Брежнев был тогда полон сил и энергии. Казалось, уверенностью и внешней простотой он располагал к себе людей. Когда уходил из больницы, попрощался не только с врачами, но и приветственно махнул рукой всем, кто находился в тот момент возле кабинета.

Сейчас о нем пишут много плохого и вздорного. Мне же казалось, что по природе своей Брежнев был человеком добрым. И многие его приближенные беззастенчиво использовали это качество в своих личных интересах. Серьезные проблемы со здоровьем возникли у него после кровоизлияния в мозг. И именно тогда нашлось немало людей из его окружения, которые вертели им по своему усмотрению, как хотели. Думаю, все это знали и понимали.

Много писали и о медсестре, которая делала ему какие-то убийственные уколы. Действительно, к нему была прикреплена специальная медсестра, которая делала ему инъекции. Она и сейчас работает в больнице. Но я как кремлевский врач задаюсь вопросом: если медсестра колола ему что-то не то, почему ей этого не запретили? Ведь медицинская сестра — всегда человек подневольный, инициатива исходила не от нее. Значит, от кого-то другого. К тому же нигде, ни в каких записях истории болезни не было ни слова о том, что Брежневу делали инъекции морфия или понталона, на что неоднократно намекали в различных публикациях. По всем показаниям, психика у Брежнева была здоровой.

Вторая запомнившаяся мне встреча с Брежневым произошла через много лет. Леонид Ильич проходил лечение в нашей больнице. Он был уже болен: плохо передвигался, речь — неотчетливая, все больше походил на обиженного ребенка.

Как-то вместе со своим лечащим врачом Чазовым Брежнев прогуливался по коридору второго этажа, где и располагались его апартаменты. За разговорами врач и больной присели на кушетку возле рентгеновского кабинета. И так случилось, что в это время я находилась в рентгеновском кабинете по обычным делам. Причем дверь в кабинет почему-то осталась приоткрытой. Услышав довольно отчетливо голоса Брежнева и Чазова, мы с рентгенологом растерялись и поначалу хотели закрыть дверь кабинета. Но, видимо, постоянный неосознанный страх заставил нас никоим образом себя не проявлять. Таким образом, мы оказались невольными свидетелями разговора пациента и врача — Брежнева и Чазова. Я до сих пор помню его хорошо...

— Женья, — говорил Леонид Ильич, — не выпишывай меня, пожалуйста. Не хочу домой. Опять с женой начнется...

Чазов ответил, что не выпишет, хотя свежий воздух был бы очень полезен больному.

Брежнев повеселел и сменил тему разговора:

— Ты почему ничего не говоришь о строительстве, не просишь ничего?

В то время возводилась новая больница четвертого Главного управления — на Мичуринском проспекте. Евгений Иванович назвал какую-то сумму в миллионах рублей, необходимую для строительства. Генсек присвистнул, но сказал, чтобы Чазов подготовил бумаги на подпись.

Наконец, Брежнев и Чазов поднялись. Мы с рентгенологом дрожали, как школьницы. Хорошо, что никто не застучал нас, а то подумали бы, что мы подслушивали специально. Впрочем, ничего нового из этого разговора мы не узнали.

Трещина восьмого ребра

Последняя встреча с пациентом «кремлевки» Леонидом Ильичем Брежневым чуть не кончилась для меня серьезными неприятностями.

Был день моего очередного дежурства. Звонок: срочно просят спуститься на второй этаж. Спускаюсь и вижу странную группу, идущую по коридору. Впереди Чазов. За ним двое здоровых молодых мужчин буквально волокут под руки третьего, еле переступающего ногами. Подошла, присмотрелась. Господи, это же Брежнев! Не сдержав возмущения, спросила Чазова:

— Что вы делаете? Почему не положили больного на каталку?

Чазов, будто не слыша, обратился ко мне на «ты», что с ним бывало редко:

— Ты лучше посмотри больного и скажи, почему он стонет.

Леонида Ильича положили на стол. Первым его обследовал невропатолог. Наблюдая за осмотром, я заметила, что больной больше всего реагирует на глубокий вдох. Стало быть, что-то неладно с грудной клеткой. Сделали рентген. Однако перелома ребер обнаружено не было. Тем не менее практика или интуиция подсказывали, что патология заключена именно здесь. Чазов в это время ушел. И чтобы исключить сомнения, я вызвала операционную сестру и на самом болезненном месте грудной клетки сделала новокаиновую бло-

каду. Брежнев стал дышать глубже, стоны прекратились. Это означало, что причиной столь сильной боли могла оказаться трещина ребра или большая гематома грудной клетки. В истории болезни я так и написала.

Утром у постели Брежнева собрался консилиум. Я в это время была на операции.

Позже мне рассказали, что некоторые из уважаемых профессоров не отказали себе в удовольствии лишний раз проехаться по поводу «хвалёных хирургов», которые, не считаясь с заключением рентгенолога, упорно ставят свой диагноз, да еще делают лишнюю процедуру — новокаиновую блокаду. «Человек упал с низкого дивана на ковер. Какой перелом? Какая трещина?» — возмущались они.

Атмосфера накалялась. Ситуация складывалась не в мою пользу. И тут профессор-рентгенолог Тагер, еще раз тщательно рассмотрев снимок, вдруг сказал: «Молодец хирург! Не видя снимка, поставила правильный диагноз. У больного, помимо ушиба грудной клетки, трещина восьмого ребра».

Не знаю, из-за этого ли случая, по какой другой причине, но Евгений Иванович Чазов дважды снимал мою кандидатуру на присвоение звания заслуженного врача РСФСР. А может быть, сыграла роль его нелюбовь к хирургам вообще?

Так или иначе, но в нашей больнице почетные звания получали в основном терапевты. Я заметила с давних пор, что терапевты и хирурги никогда особенно не дружили. Терапевты считают, что в деле врачевания они — главные, их слово решает все. Видимо, то же самое думают и хирурги. Непреодолимое противоречие...

«ЗАРЕЗАЛИ» ЛИ МЫ КОРОЛЕВА?

«Кремлевские врачи зарезали Королева!» — такая фраза зазвучала буквально на второй день после смерти Сергея Павловича — выдающегося ученого, конструктора космических кораблей. Да и по прошествии времени, спустя 25 лет после его смерти, я снова встречала газетные статьи, где высказывалось подозрение о якобы недостаточной подготовке к операции, о нехватке кислорода да и о многом другом. Упреки по поводу кислорода меня особенно задевали. Это уж совсем из области фантастики! Всем известно, что в каждой палате нашей больницы, тем более в операционных, установлена централизованная подача кислорода. Помимо этого, около операционного стола всегда стоят большие баллоны с кислородом, которого хватило бы не на одну операцию. Но до сих пор меня спрашивают: кто виноват в смерти Королева? И есть ли виновные? Это не удивительно: в день смерти Сергея Павловича я была рядом с ним от начала операции до последнего его вдоха. Я — свидетель всего происшедшего.

Но все по порядку.

Первый раз он попал в «кремлевку» в 1962 году. Основной диагноз «нарастающая сердечная недостаточность». Помимо этого при обследовании обнаружили полип прямой кишки. При биопсии и последующем гистологическом исследовании очень опытными специалистами этот диагноз подтвердился. Назначили лечение. Сергей Павлович пролежал в нашей больнице недолго. Будучи серьезно больным, он всегда лечился на ходу. Нередко его навещали друзья, коллеги по работе — Келдыш, Смирнов, Ветошкин. Однажды пришли космонавты: Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Герман Титов, Валерий Быковский и еще кто-то. Помню, что

все космонавты прошли в палату, а Терешкову задержали: она не сняла свое роскошное каракулевое манто. На просьбу вахтера, а потом медсестры хирургического отделения она не реагировала. Пришлось вмешаться мне, попросить оставить манто в раздевалке. Скрепя сердце, она все-таки спустилась вниз и доверила свое меховое чудо гардеробщику.

Чуть позже, проходя по коридору, за дверями палаты я услышала голос Гагарина, рассказывающего что-то смешное, чьи-то реплики, взрывы смеха. Вошла в палату, чтобы утихомирить гостей, и застала такую картину. Сергей Павлович сидел на кровати, поджав ноги. Перед ним полукругом на стульях расположились космонавты, посередине стоял Юрий Гагарин. Увидев меня, он прервал свой рассказ и с виноватой улыбкой сказал: «Милый доктор, простите, пожалуйста. Это я один поднял такой шум». Он еще что-то говорил. А я случайно поймала взгляд Королева. Он смотрел на Гагарина с восхищением и гордостью, как отец — на оправдавшего его надежды сына.

Всплывает в памяти и другой эпизод. В это же время в хирургическом отделении лежала мать Сергея Павловича, Мария Николаевна Баланина. Первое время я не знала, что моя больная — мать Королева: в истории болезни этот факт записан не был. Сама же она поначалу ничего не говорила. Но так случилось, что мать и сын одновременно оказались в нашем отделении. Много для меня прояснилось.

Когда здоровье Марии Николаевны пошло на поправку, она стала более общительной и иногда рассказывала мне о своем сыне. Но... Возможно, я и грешу против истины, особой душевной близости с сыном я у нее не заметила. Уже позже со слов жены Королева, Нины Ивановны, я узнала некоторые подробности нелегкой судьбы Главного конструктора. Сергей Павлович рано остался без отца, к тому же

был оторван и от матери. Она вторично вышла замуж, стала Баланиной. Мальчика практически воспитывал дед.

Нина Ивановна рассказывала, что когда в 38-м Сергей Павлович был осужден как враг народа и находился в заключении на Колыме, от него отказались самые близкие люди — мать и первая жена, которая была врачом, впоследствии доктором медицинских наук. Трудно сейчас судить, было это отречение добровольным или принудительным. При Сталине подобное случалось нередко. В первые дни после возвращения из заключения Королеву некуда и не к кому было идти. Он был страшно одинок. Некоторое время ночевал на работе, спал прямо на письменном столе. И только одна добрая душа сжалась и приютила Сергея Павловича в своем доме. Это и была Нина Ивановна. Тогда она служила секретарем в конструкторском бюро, где и работал Королев. Вскоре стала его законной женой, другом и хранителем. Мы, врачи, видели своими глазами, как бережно она заботилась о нем.

С матерью Сергея Павловича мы тоже подружились. После выписки из больницы Мария Николаевна прислала мне букетик ландышей и записку, которая хранится у меня до сих пор.

«Дорогая Прасковья Николаевна! Большое спасибо Вам за Сережку. Матери дают детям жизнь один раз. Вы — многократно. Еще раз спасибо. Посылаю скромный букетик моих любимых ландышей, свежие — сама собирала в лесу. Если учесть мои года, 100 кг, камни в желчном пузыре, это нелегко, но я с радостью их собирала (ландыши, не камни), так как собирала для Вас.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успеха! Еще раз спасибо Вам за Ваш тяжелый, но так необходимый людям труд. Ваша М. Баланина. 4.6.1962 г.»

Спустя десять лет Мария Николаевна подарила мне книгу А. Романова «Конструктор космических кораблей». Книгу о своем сыне.

Теперь приступаю к главному и трагическому. После выписки из больницы Королев продолжал много и напряженно работать. Три года с начала заболевания Сергей Павлович находился под наблюдением врачей спецполиклиники и нашей больницы. За это время неоднократно повторялась биопсия полипа, которая, как и прежде, указывала на доброкачественное образование. Но болезнь не оставляла его. С конца 1965 года у Королева периодически стали появляться небольшие кровотечения из прямой кишки. Увеличилась общая слабость, быстрая утомляемость.

5 января 1966 года, по свидетельству Нины Ивановны, Сергей Павлович проснулся в луже крови. Утром следующего дня поступил в наше хирургическое отделение. Кровотечение было быстро остановлено. После тщательного исследования желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы мы пригласили на консультацию профессора Бориса Васильевича Петровского. Того самого Петровского, который впервые в СССР применил протезы клапанов сердца, осуществил операции пересадки почек, пластики бронхов и трахеи. Были у него и труды по хирургическому лечению рака пищевода. Несколько лет он работал главным хирургом нашего четвертого Главного управления, а последние пять месяцев занимал должность министра здравоохранения СССР. При всех высоких должностях он не бросал хирургическую практику и о заболевании Королева был осведомлен хорошо. Мы снова, в который раз, делаем биопсию полипа. Ответ тот же ответ — доброкачественное образование прямой кишки без признаков перерождения. Не-

смотря на определенное заключение гистологов, некоторые хирурги высказали предположение о наличии опухоли, скорее всего злокачественной, вне стенки прямой кишки.

Консилиум принял решение готовить больного к операции. Предполагалось для уточнения диагноза пойти на вскрытие брюшной полости. Существовала вероятность и более сложной операции — резекции толстой кишки. Предварительно больной был тщательно осмотрен терапевтом, анестезиологом и отоларингологом. Не исключалась еще одна операция — трахеотомия для проведения наркоза. Дело в том, что у Королева были и другие осложнения: перелом челюсти и травма шейного отдела позвоночника, что затрудняло интубационный наркоз.

14 января наступил день операции. Как мы и предполагали, интубационный наркоз провести не удалось. Операция началась под масочным наркозом, который делал опытный анестезиолог Савинов — виртуоз в своем деле. Поэтому трахеотомия не потребовалась. У операционного стола стоял профессор Петровский. Ему ассистировали трое хирургов, среди которых находилась и я. При вскрытии брюшной полости наши подозрения оправдались. В полости малого таза была обнаружена большая опухоль, прорастающая в стенку прямой кишки. Она и выпячивала нормальную слизистую, давала ложное представление о наличии доброкачественного полипа, что вводило всех врачей в заблуждение. После срочной биопсии и последующего исследования эта опухоль оказалась ангиосаркомой. Это — редчайшее заболевание прямой кишки. Мы тщательно осмотрели всю брюшную полость, но метастазов не обнаружили. Стало быть, диагноз был поставлен неверно. Опухоль находилась около кишечника, в области таза. Мы не могли ее прощупать. Тогда ведь

не было УЗИ — ультразвукового исследования. Если бы оно практиковалось в 60-е годы, все бы было ясно! Мы же исследовали кишечник только с помощью бария и колоноскопии. В этом и была загвоздка.

Таким образом, перед оперирующим хирургом встал трудный вопрос: что делать? Идти на радикальное удаление опухоли, то есть резекцию толстой кишки? Но вынесет ли больное сердце? Отказаться от сложной операции — значит заранее вынести самый тяжелый приговор. Больной погибнет не только от кровотечения, но и от злокачественного новообразования.

Приняли решение опухоль удалять. Риск велик, но что оставалось делать? Любой хирург поступил бы так же. В этот момент, по-видимому, и дрогнуло сердце у Бориса Васильевича Петровского. Слишком велика была ответственность. Он не смог или не захотел взять ее на себя одного. Решил поделить с главным хирургом Советской Армии профессором Вишневым Александром Александровичем, который в какой-то степени также отвечал за здоровье и жизнь Сергея Павловича.

Мне было приказано размыться и срочно найти и доставить профессора Вишневого в операционную.

На машине «скорой помощи» с включенной сиреной и рацией мы с шофером вихрем понеслись по улицам Москвы в клинику Вишневого. В клинике его не оказалось. Личный секретарь сообщил, что профессор вместе с супругой отправился в какой-то магазин. Что делать? Время отсчитывало драгоценные минуты и секунды. Медлить было нельзя. Машину поставили поперек въезда в клинику, чтобы случайно не пропустить Александра Александровича. Сама же я побежала по направлению к бли-

жайшему магазину и, на мое счастье, в нескольких шагах от входа почти столкнулась с Вишневым. Мы хорошо знали друг друга еще с военных лет. Увидев меня, он мило улыбнулся, не подозревая, что его ждет впереди. Не теряя ни секунды, я схватила его за руку, втолкнула в машину и крикнула шоферу: «Гони быстрее!». Александр Александрович, еще продолжая улыбаться, сказал привычную любезность, а потом все-таки спросил: «Киса, куда ты меня везешь?» Когда я рассказала о случившемся, улыбка тут же исчезла с его лица. Всего на поездку в клинику и обратно я затратила ровно пятнадцать минут.

В больнице тем временем шла операция. По всем показателям состояние Королева было удовлетворительным. Петровский предложил Вишневскому принять участие в операции, которая уже близилась к концу. Вишневым отказался, но остался наблюдать за ее ходом, ни на минуту не отходя от больного. Наконец, операция благополучно закончилась. И хирурги, и академики были безмерно счастливы. Даже стали называть друг друга по имени: Боря, Саша... Это означало, что хоть на время растаял между ними лед недоверия. Больной начал просыпаться: открыл глаза, зашевелил пальцами, пытался что-то сказать. Успокоившись, почти все хирурги направились в ординаторскую для записи хода операции. В операционной остались я, операционная сестра и два анестезиолога-реаниматора — Юрий Ильич Савинов и Сергей Наумович Ефунин из клиники Петровского. И тот и другой — прекрасные специалисты.

Прошло тридцать минут. Король все еще находился на операционном столе, когда внезапно произошла остановка сердечной деятельности. Не теряя ни секунды, мы приступили к реанимации.

Прибежали все хирурги, в том числе и оба академика. Но что мы только ни предпринимали для спасения Королева, все было напрасно. Наступила смерть.

Жена Сергея Павловича, Нина Ивановна, с начала операции и до ее трагического конца сидела в коридоре, соединяющем операционную с ординаторской, под большими стенными часами, сжавшись в маленький безмолвный комочек. Только подрагивающие руки выдавали волнение. Когда операция закончилась как будто успешно, кто-то из хирургов радостно сообщил ей, что все позади и волноваться больше не следует. Но она по-прежнему оставалась безмолвной и неподвижной, как будто окаменела. Позже она рассказала мне о своих ощущениях в то трагическое утро. Она была словно в забытьи, ей чудилось, что на нее надвигается что-то страшное. Но когда услышала топот ног врачей, бегущих обратно в операционную, она очнулась и поняла, что все кончено.

Когда привели в порядок безжизненное тело Сергея Павловича и перенесли в другую операционную, Нину Ивановну пригласили попрощаться с мужем. Я стояла рядом с ней. Она схватила мои руки, сжала их, и мы вместе подошли к Королеву. Прошло много лет, но до сих пор я с содроганием вспоминаю эти минуты и это прощание.

КАК Я КОРМИЛА МАРШАЛА ЖУКОВА

...Георгий Константинович Жуков был доставлен в Кремлевскую больницу в тяжелом состоянии. В результате кровоизлияния в мозг произошел паралич гортани. Положили его в отделение неврологии. Он не мог ни говорить, ни глотать. Кормили

его через желудочный зонд. Причем делал это в строго определенное время специально назначенный врач.

Однажды, когда я шла по коридору неврологического отделения, меня чуть не сбила с ног сестра, выбежавшая из палаты, где лежал маршал.

— Прасковья Николаевна! Зайдите в палату к Жукову, — чуть не плача попросила она. — Не пришел вовремя врач для кормления. Георгий Константинович вне себя от гнева.

«Истинно маршальский характер», — подумала я про себя. В голове пронеслись некоторые из легенд, ходившие о Жукове. Говорили, что Жуков перед сражением брал горсть земли и нюхал. По запаху он угадывал, можно ли начинать сражение, будет ли удача. Как бы спрашивал у родной земли совета. Еще говорили, что помогает Георгию Жукову святой Георгий Победоносец, не случайно изображенный именно на московском гербе. Рассказывали также, что, когда Жуков появлялся на фронте, силы у войска как бы прибавлялись: если наши оборонялись, немцы не могли прорвать оборону, если наши наступали, немцы отходили. С Георгием Константиновичем на поле боя как бы прилетал дух победы.

Какой же он теперь, не могущий не только приказать, но и вымолвить слова? Не без робости вошла я в палату.

Все было готово для кормления. Чтобы разрядить обстановку и успокоить больного, я улыбнулась и сказала:

— Если вы разрешите, я сделаю все сама. На высоком уровне...

А про себя подумала: а ну как не заладится, что тогда? Наобещала на свою голову «высокий уровень»!..

Но все прошло благополучно. Попрощавшись с больным, я направилась к выходу. У самой двери меня опять догнала медсестра и попросила вернуться. Георгий Константинович с трудом выводил что-то на листке бумаги, который передал мне. Я прочитала: «Ув. доктор, прошу, чтобы кормили меня именно Вы. Очень прошу!»

Я была в замешательстве. Жуков — больной неврологического отделения. И как посмотрит на его просьбу лечащий врач? Заметив мои сомнения, Жуков снова показал на листок бумаги, где к написанному было добавлено: «Благодарю и еще раз прошу».

Пришлось согласиться. Формальности были улажены. Так я стала как бы еще одним лечащим врачом Георгия Константиновича. Что касается недовольства маршала первым врачом, опоздавшим на кормление, думаю, это не было капризом больного. Скорее, естественная реакция военного человека. Жуков был требователен и к себе, и к другим, не терпел разгильдяйства и несобранности. Именно эти качества и помогли ему справиться с тяжелым недугом.

Но, как говорят в народе, беда не приходит одна. В это же время жена Жукова была безнадежно больна. Галина Александровна поступила в наше хирургическое отделение, когда сам маршал под строгим врачебным контролем уже долечивался дома.

Несколько лет назад Галина Александровна была прооперирована в госпитале им. Бурденко, где сама работала врачом-терапевтом. Теперь эта милая, умная женщина погибала от множественных метастазов рака. Ничего нельзя было сделать.

Она умирала во время моего дежурства. Помню, сознание ее затухало, дыхание прерывалось, глаза

закрывались, как вдруг она очнулась, с трудом приподняла руку и показала на телефон.

— Соедините меня с мужем, — попросила еле слышно.

И откуда только взялись силы! Я набрала номер. Тихо, но отчетливо она проговорила в трубку:

— Георгий, милый... Мне стало лучше. Не беспокойся за меня. Поправляйся сам.

Что ей отвечал Жуков, не знаю. Но слабая улыбка на мгновение осветила ее лицо.

— Прощай, милый! — вымолвила она напоследок.

Через два часа ее не стало.

Гроб с ее телом установили в зале патологоанатомического отделения Центральной клинической больницы. Предупредили, что, несмотря на категорический запрет врачей, Жуков едет прощаться с женой.

Георгий Константинович вошел в зал с букетом роз, положил их к ногам жены. Потом попросил оставить его наедине с покойной и склонился над ее изголовьем...

Эти несколько минут, которые Жуков провел с женой, показались нам вечностью. Здоровье маршала вызывало серьезные опасения, поэтому мы вынуждены были подглядывать через чуть приоткрытую дверь за происходящим. Но так и не решились прервать это последнее прощание...

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ГАЛИНЫ БРЕЖНЕВОЙ

Сообщили по телевизору, что умерла Галина Брежнева — дочь бывшего Генерального секретаря. Показали последнее ее интервью. Я содрогнулась: опустившаяся, одинокая женщина, страдающая ал-

коголизмом. Лицо одутловатое, глаза заплывшие, одета неряшливо. Я помнила ее совсем другой...

В этот день после работы я собиралась в театр. По этому случаю принарядилась и даже позволила себе надеть серьги с камешками под бриллианты. По существующей инструкции, врачам Кремлевской больницы не разрешалось пользоваться косметикой, носить дорогие украшения. Словом, любые излишества не приветствовались.

На работе сообщили, что в палату начальника Главного четвертого управления положили Галину Брежневу, дочь Генерального секретаря. Мне полагалось зайти к ней, осмотреть, как у нас выражались, «по своей части».

Вошла в палату, представилась.

— Ничего себе доктор! — воскликнула Галина, глядя на меня. — Да с вашей внешностью разве работать надо?

Я слегка опешила, пыталась перевести разговор в другое русло. Стала спрашивать, как она себя чувствует, на что жалуется...

— А ни на что! — отмахнулась Брежнева. — Иногда голова болит, и в области шеи небольшие боли. Вот, решила обследоваться.

Галина произвела на меня впечатление человека незлого, открытого, любящего шутку и острое словцо. Она была «кремлевской дочкой», для которой не существовало никаких запретов, ничего невозможного. Уже выходя из палаты, я подумала, что чем-то она напоминала Светлану Аллилуеву, дочь Сталина, у которой однажды мне довелось побывать в гостях.

А дело было так. Как-то пришлось мне лечить одну из родственниц Сталина. Она была репрессирована, сидела в тюрьме, где и подорвала здоровье. Постепенно у нас сложились дружеские отношения.

Уже после ее выздоровления мы случайно столкнулись в гастрономе, что в доме на набережной. Она уговорила меня зайти к ней в гости.

Посидели, побеседовали. Неожиданно она сказала:

— Знаете, я рассказывала о вас Светлане Аллилуевой. Она не прочь с вами познакомиться. Ее квартира на этом этаже, рядом. Давайте зайдём?

Я не очень противилась. Все-таки интересно: какая она, дочь Сталина?

Моя хозяйка позвонила по телефону, получила приглашение зайти. Нас провели прямо в столовую. Меня поразил огромный стол, уставленный различными яствами. Чего на нем только не было! Прямо картинка из книги «О вкусной и здоровой пище»!

За столом сидела Светлана. Она встретила меня радостным восклицанием, встала, пожала руку, усадила и сразу предложила мне угощение. Я наотрез отказалась, выдумав несуществующую операцию, которую якобы мне предстояло сегодня же делать. Сначала Светлана как будто обиделась, но потом перестала меня упрашивать. Светлана мне понравилась, показалась неглупой, держалась без фанаберии. Как и Галина Брежнева, была похожа на отца. Обе «кремлевские дочери» были симпатичные, но не красавицы. А в манере поведения, хотели они того или нет, сквозила вседозволенность.

...Когда я зашла к Брежневой в следующий раз, она прервала мои расспросы и неожиданно заявила:

— Хватит. Поговорим о вас. Скажите, зачем красивой женщине возиться с больными, со всей этой кровью, гноем, дерьмом, мочой? Да бросьте все это к черту! Хотите в мою компанию? У нас весело, цыгане бывают...

— Ох! — деланно вздохнула я. — Вы знаете, вра-

чи ведь себе не принадлежат. Какие уж тут компании да цыгане...

— О том и речь, — не сдавалась она. — Не хотите добровольно, мы вас похитим! А что?

Галина Брежнева еще один раз лежала в нашем отделении с неопределенным диагнозом. На мой вопрос, что она тут делает, шутя отвечала:

— Готовлюсь к похищению!

А потом вполне серьезно жаловалась на головную боль.

Но почему я вспомнила о Светлане Аллилуевой? Уже работая над своими записками, прочитала в газете о ее матери Надежде Сергеевне, которая застрелилась в 1932 году. Рассказывают, что она дружила с Александрой Юлиановной Канель, главврачом Кремлевской больницы. И будто бы Канель вызвали в кремлевскую квартиру, когда нашли Аллилуеву мертвой. Она отказалась подписать врачебное заключение, которое ей предложили: о скоропостижной смерти от острого аппендицита. Также отказались это сделать доктор Левин и профессор Плетнев. Того и другого арестовали в 37-м году и позже расстреляли. А главного врача «кремлевки» отстранили от должности. Через три года она умерла при загадочных обстоятельствах. Говорили, что от менингита. Говорили также, что вызванный Ворошиловым доктор Казаков, который дежурил в тот день в Кремлевской больнице, тоже отказался подписать акт о самоубийстве Надежды Аллилуевой.

«Наверняка так и было», — подумалось мне по прочтении этой статьи. В истории Кремлевской больницы много неизвестного, загадочного и даже трагичного.

АНДРЕЙ ГРОМЫКО И ВРАЧ-ОТРАВИТЕЛЬ

Как обычно, звонок главного врача:

— Прасковья Николаевна! К вам поступает министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко.

У меня внутри все оборвалось...

— Владимир Григорьевич, — проговорила я, — если можно, положите его к другому врачу...

— В чем дело, Прасковья Николаевна?

— Если хотите, я поднимусь к вам и все объясню...

— Никаких объяснений. Больному надо немедленно и как можно быстрее оказать помощь. Слушайте внимательно еще раз: к вам поступает Громыко.

Я подчинилась. Пока спускалась вниз, будто перенеслась в Париж начала 50-х, куда меня направили вместе с мужем... Я работала тогда врачом в нашем посольстве. В Москве гремело «дело врачей», сведения о котором докатились и до Парижа. Через Париж в Нью-Йорк проезжала советская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Андреем Громыко. Устроили прием. В посольстве собралось много народу. И вот незадача! Под тяжестью одежды упала деревянная вешалка, ударив по голове чью-то секретаршу. Понадобилась врачебная помощь. Пригласили меня. Я осмотрела пострадавшую, признаков сотрясения мозга не обнаружила. Правда, на месте ушиба образовалась большая гематома. Предложила сделать давящую повязку и положить лед. Секретарша вдруг зло произнесла:

— Я не позволю этому человеку прикоснуться ко мне! Она — из тех самых кремлевских врачей. Просто ей удалось сбежать из Москвы...

Посол вынужден был посадить меня под домашний арест. Но вскоре заболел и сам Громыко. Температура поднялась к сорока градусам, болело горло. Посол снова вызвал меня. Я поднялась на третий этаж в апартаменты больного. Громыко полулежал в кресле. Подле него стоял посол. Мой охранник и переводчик остались в коридоре. Высокопоставленный больной встретил меня более чем сухо, поздоровался сквозь зубы, но к своей персоне допустил. Осмотрев Громыко, поставила диагноз — грипп. Потом достала из чемоданчика рондомицин — эффективное лекарство при заболеваниях верхних дыхательных путей — и протянула Громыко. Но заместитель министра резко отстранил мою руку:

— Вашего лекарства я принимать не буду!

Я вспыхнула от возмущения и обиды. Слава Богу, не разрыдалась. Посол молча проводил меня до двери.

И вот через двадцать с лишним лет я снова должна лечить Громыко — теперь уже министра.

Когда вошла в палату, он взглянул на меня недоуменно, как будто пытался что-то вспомнить...

— Что с вами случилось, Андрей Андреевич? — как можно вежливее спросила я.

Казалось, он лишился дара речи. Потом произнес:

— Руку, кажется, сломал. Подвернул неожиданно. Очень болит.

— Не беспокойтесь, — сказала я. — Сейчас все сделаем. Не волнуйтесь.

— Волноваться не буду, когда все будет в порядке, — сказал он сухо.

Я продолжала успокаивать:

— Сейчас сделаем рентген, посмотрим снимок. Наложим гипсовую повязку, и все будет в порядке.

— Если бы это было так, — произнес он с сомнением.

Сестра отвезла Громыко на каталке в рентгеновский кабинет. Я посмотрела снимок. Перелом оказался непростым — со смещением.

Тем не менее я произнесла ободряющую фразу:

— Ничего страшного.

Через несколько мгновений мы были в перевязочной и медицинская сестра Тоня, понимающая меня с полуслова, уже приготовила все необходимое.

Перед операцией я спросила:

— Андрей Андреевич! Может быть, вы хотите, чтобы вас обслуживал другой врач?

— Нет, — только и сказал он.

Я принялась за дело, не переставая уговаривать больного:

— Сейчас сделаем обезболивание. Видите, я беру самую тонюсенькую иголочку. Вы ничего не почувствуете... Как будто укус комара.

Сделала блокаду действительно безболезненно. Сестра готовила гипсовую лангету. Я отдала распоряжение:

— Держите его локоть!

Сама взяла кисть и сильно потянула к себе. Раздался легкий хруст. Значит, кость встала на место. Гипсовую повязку наложила сама выше локтя. Еще раз прощупала всю руку. Сделала еще одну повязку, высвободив кисть руки.

— Фу, — сказал с облегчением министр. — Как будто и не ломал руку.

Но я почувствовала, что сказано это не от сердца. Он все еще чего-то боялся. Снова поехали на рентген.

— Снимок покажет, действительно ли все на месте, — сказала я.

Врач-рентгенолог вертела снимок и так и сяк, потом проговорила:

— Что-то не видно, чтобы ваш больной ломал руку.

Она еще не знала, что больной — министр иностранных дел. Увидев Громыко, тихо добавила:

— Прекрасно вправили, Прасковья Николаевна. Лучше и сделать нельзя.

Громыко отправили в палату. Я навевывалась через каждый час.

— Болит рука, Андрей Андреевич?

— Немного больно, — отвечал он. — Видимо, наркоз отходит.

— Сделать вам укол?

— Нет, не надо. Не люблю я эти уколы. — Он как-то странно посмотрел на меня.

— В таком случае завтра сделаем еще раз контрольный снимок. Если все в порядке, можете ехать домой, — заключила я бодрым голосом.

— Домой? — удивился он. — Так рано?

— Ну что вы! — успокоила я. — Вы можете лежать здесь сколько вам будет угодно. Рука должна находиться в гипсе три недели. Потом будете ее разрабатывать.

Через три недели я сняла гипсовую повязку.

— Теперь вы можете окончательно выписываться.

Он посмотрел на меня внимательно и сказал:

— Вы знаете, где-то я с вами встречался... Никак не могу вспомнить.

Думаю, что Громыко лукавил: он узнал меня сразу... Слишком памятной была прошлая встреча.

— Нет, Андрей Андреевич, — проговорила я тем не менее. — Нигде с вами мы не встречались. Всего вам хорошего. До свидания.

Дома я обо всем рассказала мужу.

— Что ж ты не напомнила ему о Париже? — спросил он.

— Зачем? — ответила я. — Я — врач. Давала клятву Гиппократа. Стало быть, ничем, никакими воспоминаниями, особенно неприятными, не должна тревожить больного.

— Надо же! — удивился муж. — Ты еще помнишь клятву Гиппократа? Сегодня, наверное, никто ей не следует.

БЕГ ПО ЛЕСТНИЦЕ С СЕМЕНОМ ЦВИГУНОМ

В январе 1982 года услышала о смерти первого заместителя председателя Комитета государственной безопасности Семена Цвигуна. Ходили слухи, что это самоубийство. Ушам своим не поверила: как мог такой мужественный, волевой человек свести счеты с жизнью подобным образом?

Вспомнила, как его привезли в нашу больницу с грозным диагнозом: «кишечная непроходимость». В истории болезни значились только имя, фамилия и отчество: Семен Кузьмич Цвигун. Ни занимаемой должности, ни звания указано не было. Несмотря на сильные боли в животе, Цвигун держался хорошо, даже улыбался. Позже он признался, что тяжело ему было не только от болей, но и от неизвестности: что за болезнь, не ждет ли его операция?

Меня тоже грызли сомнения. Несомненно, диагноз требовал хирургического вмешательства. Но сначала надо было выяснить, что явилось причиной кишечной непроходимости. Когда я вникла в анализы и тщательно осмотрела больного, от сердца у меня отлегло: это же почечная колика! Тоже, конечно, радости мало, но все-таки...

Рентгеновское обследование подтвердило мой диагноз: в мочеточнике больного отчетливо просматривался крупный камень. Чтобы выгнать его,

я решила применить самый простой метод. Цвигун был мужчина крепкий, сердечно-сосудистая система — в порядке. Я сделала ему несколько обезболивающих уколов, предложила выпить два-три стакана теплого чая и заставила бегать вверх-вниз по лестнице. Конечно, мне пришлось бегать вместе с ним.

Удивило меня, что ни во время обследования, ни во время лечения Цвигун не задал ни одного вопроса. Он беспрекословно выполнял все указания. Разве только, бегая по лестнице, время от времени посматривал на меня удивленно.

Через два часа после начала лечения злосчастный камень лежал у пациента на ладони. Мы оба вздохнули с облегчением. Он — оттого, что исчезли жестокие боли в животе и мрачные мысли в голове, я — оттого, что не ошиблась в диагнозе и вернула больному здоровье.

Правда, мне очень хотелось узнать, кого же так бесцеремонно я подвергла столь жестокому методу лечения? Кто этот дисциплинированный и терпеливый человек? Спросила у самого Семена Кузьмича. А когда узнала, что он — заместитель председателя КГБ, невольно рассмеялась:

— Надо же, а я с вами вот так, запросто, наперегонки!

Глядя на меня, засмеялся и Цвигун.

ПЕРВАЯ ЖЕНА ШАЛЯПИНА

В мое дежурство «скорая помощь» привезла пожилую женщину — маленькую, худенькую — с компрессионным переломом позвоночника. В направлении было написано: «Просим принять на лечение Шаляпину Иолу Игнатьевну».

Я поинтересовалась, не жена ли она знаменитого певца. Иола Игнатьевна горько улыбнулась и сказала с заметным акцентом:

— Да, я первая жена Шаляпина. — Потом в свою очередь задала вопрос мне: — Милый доктор, скажите, пожалуйста, куда я попала?

Я ответила:

— В Кремлевскую больницу.

Она удивилась, а чуть позже поведала мне свою историю.

По происхождению она — итальянка. В молодости была знаменитой балериной. Однажды приехала на гастроли в Россию, встретила Шаляпина да и осталась навсегда.

Долгие годы Иола Игнатьевна жила с дочерью Ириной в том самом доме, где когда-то они жили с Федором Ивановичем Шаляпиным. В 20-х годах Шаляпин уехал за границу, забрав остальных детей. Она же осталась в Москве без всяких средств к существованию. Никакой пенсии от государства не получала. Жила на деньги, которые удавалось выручить от продажи вещей, оставшихся после отъезда мужа.

— Сохранился только рояль Федора Ивановича, — с горечью рассказывала Иола Игнатьевна. — Однажды Федор Иванович прислал из Америки посылку с вещами для Ирины. Но все они были поношенные... Я восприняла это как насмешку. Правда, когда было особенно трудно, кто-то, по-видимому, из поклонников или друзей Федора Ивановича инкогнито раз в неделю приносили нам пакеты с едой. Звонил в дверь, оставлял пакеты у двери и исчезал... Я ни разу и не видела, кто это... Так было несколько лет. Я и не пыталась узнать... Ведь это было при Сталине. А я считалась женой изменника родины.

Я долго не могла понять, как все-таки Иола Игнатьевна попала в Кремлевскую больницу. Узнала от нее самой.

А дело было так. Когда Иола Игнатьевна упала, сломав себе позвоночник, вызвали «скорую помощь», которая приехала из института им. Склифосовского. Врач осмотрел пострадавшую, увидел, что это старая женщина, и, видимо, решив, что ей пора умирать, уехал.

Через несколько дней радиостанция Би-би-си сообщила, что жена знаменитого певца Федора Шаляпина с тяжелой травмой лежит дома без всякой помощи. В Советском правительстве всполошились и дали указание госпитализировать Иолу Игнатьевну. И не куда-нибудь, а прямо в Кремлевскую больницу, только во 2-ю.

Мы много беседовали с Иолой. Она рассказывала о себе и Федоре Ивановиче, об их встрече и горькой разлуке, о своем особняке под Римом, о том, что мечтает остаток дней провести на родине. Но для этого нет ни денег, ни возможностей.

Слушая ее, я вспомнила своего французского коллегу, доктора Лякура. Он был свидетелем последних дней и даже часов жизни Федора Ивановича, умершего в предместье Парижа. Тогда в доме Шаляпина собрались близкие, друзья, лечащие врачи, среди которых находился и Лякур. У Шаляпина был рак крови, и он знал о своем тяжелом заболевании. Однажды кто-то спросил о его заветном желании, которое с радостью бы выполнили все.

— У меня есть одно желание — чтобы похоронили меня на родине, в России, — сказал Шаляпин.

Его супруга воскликнула:

— Только через мой труп!

Шаляпин грустно улыбнулся, видимо, ожидая подобной реакции, и произнес:

— Тогда у меня — более скромное и легче выполнимое желание — привезти мешок русской земли и высыпать на мою могилу.

Услышав рассказ Лягура, я подумала, что если бы существовал в медицине диагноз «тоска по родине», его следовало бы поставить великому русскому певцу.

Заветное желание Федора Ивановича Шаляпина исполнилось много десятилетий спустя. Его прах покоится в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Иола Игнатьевна пролежала у меня в палате пять месяцев. Позвоночник потихонечку сросся. Я заново научила ее ходить, и расстались мы большими друзьями.

Позже я узнала, что вскоре после выписки из больницы Иоле Игнатьевне была назначена небольшая пенсия. Сбылась и ее заветная мечта. Она смогла вернуться на родину, в свой дом. И что удивительно: дом ждал свою хозяйку! Добрые люди поддерживали в нем порядок, сохранилась чуть ли не вся обстановка. В Италии, в родном доме она и умерла.

СОБАКИ У ГРОБА

Бывали в нашей больнице и диковинные случаи. Однажды в терапевтическое отделение поступила пожилая женщина в прединфарктном состоянии с сильнейшими болями в области сердца. Как ни старались терапевты, боли не прекращались. Обратились за помощью ко мне, зная, что я неплохо владею новокаиновыми блокадами при различных болевых симптомах. Лечение прошло довольно успешно. Боли в сердце исчезли, больная успокоилась и быстро уснула.

Когда я пришла к ней на следующий день, она рассказала, что с ней случилось. В последнее время тяжело болел ее муж. Детей у них не было, и лет десять назад он купил двух щенков овчарки. Относился к ним, как к родным детям, они отвечали ему тем же, выполняли все его приказания. И вот в доме случилось несчастье — муж умер. На похоронах было много народу: в дом пришли попрощаться друзья, знакомые, родственники. На собак никто не обращал внимания. Они притихли, ни на кого не лаяли. Безучастно и грустно лежали в стороне, даже не просили еды. После похорон и поминок хозяйка вдоволь наплакалась, приняла успокоительное и ночью крепко уснула.

Утром проснулась от холода и какого-то странного скрежета. А дом, где они жили, находился под Москвой, рядом с кладбищем. В дачном поселке все хорошо друг друга знали, у многих были собаки, входные двери обычно не закрывались, собаки бегали где хотели. Так было и в доме моей пациентки. Когда она встала, чтобы прикрыть дверь, в окна уже пробивался свет осеннего утра. То, что она увидела, привело ее в состояние шока. На полу, у входа в дом стоял гроб с ее умершим мужем. Гроб был изгрызен, крышка перекосилась и открылась наполовину. А по обеим сторонам лежали овчарки. Они тяжело дышали. Случилось невероятное. Ночью овчарки разгребли своими лапами могилу, зубами вытащили гроб и притащили в жилище своего любимого хозяина.

Увидев все это, наша пациентка схватилась за сердце. На крик сбежались соседи, вызвали «скорую», которая и доставила ее в нашу больницу.

А что же овчарки? Они по-прежнему лежали около гроба. Из послушных домашних собак превратились в диких агрессивных зверей. Скалясь и рыча,

набрасывались на каждого, кто пытался подойти к гробу.

Пришлось вызывать милицию, которая вынуждена была застрелить собак. Только после этого состоялись повторные похороны.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ В МЕДИЦИНЕ

Существовал и еще один запрет для кремлевских врачей: сведения о наших больных нельзя было распространять никоим образом, все должно было храниться в строжайшем секрете. А бывали в моей практике поразительные случаи. Об одном из них я даже хотела доложить на заседании хирургического общества. Но... Было это в конце 60-х годов. В мое отделение поступил Александр Васильевич Гоголев — первый секретарь Московского обкома партии. Он обратился за врачебной помощью слишком поздно: запущенный рак желудка. А было ему всего 35 лет.

Болезнь, к сожалению, не щадит именно таких людей — молодых, энергичных, преданных делу. Гоголева прооперировали: сделали резекцию желудка, удалили видимые метастазы. Три недели после операции он был послушен, выполнял все предписания врачей. Потом его стало томить больничное заключение. Александр Васильевич взбунтовался, стал рваться на волю. Говорил мне, что работа не ждет, что долечиваться будет дома. Даже консилиум сдался под таким напором — редкий случай! Гоголева выписали из больницы.

Но сидеть дома он не стал. С прежней энергией продолжал работать: ездил по области, вникал во все проблемы, лично следил за строительством жилья, промышленных и культурных объектов.

Однажды, когда я приехала с очередным осмотром, Александр Васильевич сказал:

— Постарайтесь сделать так, чтобы я дожил до окончания строительства Дворца культуры в Чехове.

И он дожил. Потом увидел реконструированный не без его деятельного участия музей Чехова в Мелихове. Мало того, он даже выезжал за рубеж, в Чехословакию. Запомнила это потому, что Гоголев осудил ввод наших войск в Прагу в августе 1968 года. Именно от него впервые я услышала резкую критику в адрес руководства страны.

Это был первый случай в моей лечебной практике, когда человек с запущенным раком желудка, с метастазами прожил пять лет. Притом прожил не в заботах о своем здоровье, а в нелегких, изматывающих тело и душу делах и проблемах, которые взвалил на свои плечи по беспокойной должности,

Но настал черный день — Александра Васильевича привезли к нам уже умирающего. Никакими силами спасти его не удалось. Он скончался от противоракового препарата. Не выдержал организм.

На меня посыпались обвинения. Кандидат медицинских наук, некая Р. В., упрекала:

— Как вы могли согласиться на лечение онкологического больного амбулаторно?

Ей возмущенно вторила заведующая отделением О. Д. Федорова. Они забыли, что я всячески противилась амбулаторному лечению, а санкционировано оно было свыше.

Тучи сгушались, мне грозило увольнение. Выручил профессор В. С. Маят, главный хирург нашего управления. Он подтвердил, что несколько лет тому назад действительно состоялся консилиум из видных онкологов и хирургов, на котором Гоголеву в виде исключения разрешено было лечиться дома. На этом настаивал сам больной.

На моей стороне были и родственники Александра Васильевича, с которыми я дружна до сих пор. Я осталась работать дальше.

ПРОСЬБА ШОСТАКОВИЧА

12 часов ночи. Только задремала, звонок из приемного отделения: «Срочно спускайтесь!» Еду вниз на скоростном лифте. Вижу, как открывается наружная дверь. На каталке ввозят Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. За ним — необычное шествие родственников и, по-видимому, близких друзей. Особенно выделяются двое: сын Максим в изысканном костюме и молодая девушка в подвенечном платье. Видимо, жених и невеста. Все встревожены. Как оказалось, действительно, на загородной даче праздновали свадьбу Максима. Дмитрий Дмитриевич, спускаясь по лестнице из мансарды, подвернул ногу и упал. Диагноз был таков: «тяжелый трехладыжечный перелом в области правого голеностопного сустава с расхождением и резким смещением костных отломков». На консультацию срочно пригласили опытного травматолога профессора Португалова и сразу же приступили к управлению перелома.

Невропатологи посоветовали все манипуляции производить под местной анестезией, так как у Шостаковича были очень слабые мышцы в связи с нервным заболеванием. Несмотря на профессионализм хирургов, мы все-таки причиняли нашему пациенту боль. Уж очень велика была травма. Дмитрий Дмитриевич не стонал, лишь потихоньку шептал: «Лучше бы скорее умереть». Эта фраза заставила меня принять дополнительные меры для более эффективного обезболивания. Больной успокоился и снова

так же тихо произнес: «Теперь я не хочу умирать. Спасибо».

И все же костные отломки нам удалось хорошо поставить только со второго захода, так как мышцы не помогали. Наложили хорошо отмоделированную гипсовую повязку. Операция закончилась. Теперь лекарем становилось время, Но и оно как будто остановилось. Перелом срастался очень медленно. Пришлось провести специальное дополнительное лечение, назначенное невропатологами, терапевтами и, конечно, нами, хирургами. И только через пять с половиной месяцев мы добились успеха.

Все это время я была бессменным лечащим врачом Шостаковича. Отношения у нас установились теплые. Но я заметила, что Дмитрий Дмитриевич был все-таки замкнут, погружен в собственные мысли, в свой особый внутренний мир. Хотя когда я появлялась около его постели, он оживал, становился улыбчивым, доверительным и часто говорил:

— Прасковья Николаевна! Как я вам благодарен. Вы не можете себе представить. Только очень прошу, не отдавайте меня другому врачу. Я полюбил вас за ваши золотые руки, хотя они и причиняли мне непереносимые боли. И еще — за вашу доброту.

Но мне казалось, что в его словах всегда слышалась какая-то тревога. Что-то тягостное томило его душу. Позже кое-что прояснилось. Шостаковичу довольно часто звонили по телефону. А в нашей больнице существовало правило — на каждый звонок отвечала медсестра. И уже потом передавала трубку больному, если он хотел говорить. А я еще раньше заметила, что при каждом звонке Дмитрий Дмитриевич настораживался и всегда нервно спрашивал: «Кто это?» Однажды медсестра мне говорит:

— Прасковья Николаевна! Дмитрий Дмитриевич очень просит не соединять его с артисткой Большого театра Галиной Вишневской.

Надо сказать, что Вишневская звонила чуть ли не каждый час и настойчиво требовала к телефону Дмитрия Дмитриевича. Один раз медсестра все-таки не выполнила просьбу Шостаковича и передала ему трубку. Как раз в это время я зашла в палату с обходом и невольно стала свидетельницей разговора.

— Прошу вас больше не звонить и не обсуждать эту тему, — довольно резко говорил Дмитрий Дмитриевич. — Я остаюсь при своем решении. Не поеду. И передайте мое последнее слово Ростроповичу.

Понимая, что мешаю какому-то важному разговору, я извинилась и направилась к выходу. Но Дмитрий Дмитриевич остановил меня. Создавалось впечатление, что он боится остаться один. Я села подле него, стала прощупывать пульс: сто ударов. Такого почти никогда не было. Осторожно спросила:

— Кто вас так взволновал?

Он задумался. Потом произнес:

— Для певицы Вишневской и дирижера Ростроповича меня нет.

Вскоре я прочитала в прессе, что Вишневская и Ростропович остались за рубежом. Было это в 1974 году. Тогда-то я и поняла, что угнетало Шостаковича. Судя по всему, эти люди уговаривали Дмитрия Дмитриевича эмигрировать вместе с ними, уехать из страны навсегда. Догадки мои подтвердились несколько позже.

Запомнился еще один эпизод. Как-то Дмитрий Дмитриевич сказал:

— Прасковья Николаевна, вы очень много работаете. Есть ли у вас время ходить в театр?

Я ему призналась, что времени у меня, конечно, нет, да и билеты достать трудно. Дмитрий Дмитри-

евич оживился, видимо, хотел сделать мне приятное и сказал:

— Хотите, я сейчас же достану вам билеты в Большой театр? Там выступает Има Сумак. Правда, я не поклонник ее таланта. Но наша публика буквально ломится на ее концерты. Сколько вам надо билетов?

— Если можно, два, — ответила я после некоторого колебания.

Дмитрий Дмитриевич тут же позвонил сыну Максиму, о чем-то поговорил с ним, а в конце произнес тоном, не терпящим возражений:

— Чтобы через час билеты были у меня.

В этот день я задержалась на работе — была длительная операция. Я очень устала. Забыла о билетах, думала только об одном: скорее бы домой. Проходя мимо палаты Дмитрия Дмитриевича, увидела открытую дверь и услышала резкий голос композитора:

— Я же просил, чтобы билеты были через час. Ты же пришел с большим опозданием и без билетов.

Пришлось зайти в палату. Дмитрий Дмитриевич был необычайно возбужден и продолжал делать выговор сыну. За пять с половиной месяцев я видела его таким первый раз.

На другой день он все же вручил мне два билета в Большой театр. Но я пойти не смогла. Пошли мои дети.

ОБИДА РАСУЛА ГАМЗАТОВА

Когда я слышу песню «Журавли»... Вот эту: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей...» Когда я слышу эту мелодию, сердце мое сжимается. Я вспоминаю

войну и улыбку Расула Гамзатова, автора слов этой песни.

Когда он попал в нашу больницу, артериальное давление у него было 200/140. Даже несведущий в медицине человек понимает, что это значит. Стали лечить Гамзатова, самочувствие улучшилось, артериальное давление нормализовалось.

Вот тогда-то я и подивилась необычайному дару, которым обладал этот человек. «Кладезь народной мудрости» — вот так я бы его охарактеризовала. Казалось, что он даже мыслит афоризмами и притчами. Я да и другие врачи любили слушать его рассказы и байки. А как он ценил женщин и сколько комплиментов мы от него выслушали! Ничего не скажешь, самобытная личность. Хотя по-русски он говорил плохо, но общение с ним всегда было приятно и интересно.

Однако мы старались его не утомлять. Состояние Гамзатова внушало большие опасения. Но как только многочисленные друзья узнали, что он пошел на поправку, они буквально атаковали нашего пациента. Приходили с букетами цветов, с подарками... И все бы ничего, если бы не один случай.

Гамзатов — дагестанец. И, конечно, любил побаловать себя солнечным напитком. А пить ему было запрещено категорически. Как-то после очередного свидания с друзьями он вышел из палаты, прилег в холле на диван да и заснул. Диванчик был узок для него, во сне он повернулся и оказался на полу. Его подняли, внесли в палату, уложили на кровать. Хотя поэт ни на что не жаловался, ради перестраховки позвали дежурного врача, которым я и оказалась.

Я осмотрела Гамзатова. К счастью, не обнаружила ни травм, ни даже ушибов. Он вновь уснул. Но запах спиртного наполнял всю палату. Я решила заглянуть в его тумбочку. И что же? Моему изум-

ленному взору открылась целая батарея бутылок прекрасного дорогого вина.

Видимо, любимой шуткой поэта был переименованный афоризм: «питие определяет сознание». Мне ничего не оставалось делать, как решиться на временную конфискацию этого имущества. Вино могло привести к печальному исходу. С помощью медсестры я собрала все бутылки и отнесла в кабинет нашего главного врача. Ничего лучшего в этот момент я придумать не могла. Все бутылки мы аккуратно расставили на письменном столе.

Утром главный врач Владимир Григорьевич Беззубик пришел на работу и ахнул. Откуда такая роскошь? Вызвал меня. Я рассказала, как было дело. Главный врач посчитал мой поступок правильным. Но я, конечно, переживала. Представляла, что подумает и какую притчу расскажет мне Гамзатов. Конечно, обидится. Любой бы разгневался на его месте. Но больше я Гамзатова не видела. Знаю, что они долго беседовали с Владимиром Григорьевичем в его кабинете. В этот же день Гамзатов выписался. Одно утешение: при выписке давление у него было в норме.

НАШ ЧЕРНЫЙ ЮМОР

Говорят, что все врачи циники, особенно хирурги. На человека они смотрят как на объект для лечения. Отчасти это справедливо. Такова специфика работы. Даже в нашей спецбольнице, впрочем, как и в любой другой, несмотря на все инструкции и запреты, бывали случаи, окрашенные черным юмором. Но сначала о действительно смешном.

Это случилось в больнице, что в Сокольниках. В третьем корпусе, где располагались кабинет главного врача, канцелярия, хозяйственные службы, на-

ходилась конференц-зал. В нем проводились врачебные «пятиминутки». От гардероба, где мы раздевались, к залу вел довольно широкий коридор.

Только началась «пятиминутка», как раздался топот каблучков секретарши главного врача. Она явно опаздывала. Все невольно повернули голову в ее сторону. И вдруг наступила тишина. Дежурный врач прервал свой доклад. Секретарша заметила повышенное внимание, обращенные на нее взгляды. Видимо, решила, что в это утро она особенно хорошо выглядит. Пошла медленнее, игриво виляя бедрами. И тут раздался взрыв хохота: она явилась на работу в панталончиках! Спешила, конечно, и забыла надеть юбку.

В общем, день начался весело.

Но веселье продолжалось недолго. Дежурный врач сообщил о внезапной смерти больного с радикулитом, из второй терапии. Все были удивлены: вчера был почти здоров, а ночью умер. У лечащего врача, Коваленко, челюсть отвисла. О смерти больного уже сообщили родственникам.

Едва окончилась конференция, Коваленко схватила меня за руку и попросила помочь разобраться в происшедшем. Мы направились во вторую терапию. Недалеко от корпуса нам повстречался какой-то пациент. Он улыбался. Увидев его, Коваленко побледнела и в следующую секунду с криком бросилась в кусты. Я — за ней: «Что случилось?» «Он... Он же умер, а идет», — еле вымолвила она.

Дежурный врач перепутал: умер больной не с радикулитом, а с инфарктом миокарда, находившийся с тем в одной палате. Подвели усы, которые носили и тот и другой.

Невропатологу Коваленко назначили успокаивающие средства, а дежурного врача уволили.

ВИЗИТ НА ДАЧУ АНДРОПОВА

В этот день я совмещала работу в больнице и поликлинике. В 11 часов вечера раздался звонок в спецполиклинику. Срочный вызов — у жены Андропова приступ.

На сборы ушли считанные минуты. Чемодан со всем необходимым для скорой помощи уже находился в машине. Выехали с медсестрой.

Стояла осень. На улицах уже было темно, накрапывал дождь... Наша «Волга», как водится, была с сиреной. Но ни разу не пришлось ее включить. Ехали по свободной центральной полосе, на любой свет, со скоростью сто двадцать километров в час. Правила движения нас не касались. Еще бы! Мы ехали на дачу к председателю Комитета государственной безопасности.

Довольно быстро оказались за городом. Дорога шла через лес. Неожиданно я почувствовала сильный толчок: водитель внезапно затормозил. Да так резко, что машина едва не перевернулась. Оказалось, мы чуть не сбили лося, который собирался перейти дорогу. Лось остановился как вкопанный. Постоял несколько секунд, ослепленный фарами, а потом так же внезапно скрылся из глаз.

Приехали на дачу. У ворот нас встретила охрана из двух человек, вежливо показали на входную дверь. Документы проверять не стали.

Вместе с медсестрой мы поднялись в спальню, на второй этаж. Везде царил тревожный полумрак. Кто-то невидимый помог мне снять пальто. Навстречу вышел сам Андропов — усталый, напряженный, с грустными глазами... Молча кивнул в знак приветствия.

Подошла к постели стонущей больной.

— Укол... Сделайте мне укол! Все болит, — требовательно произнесла женщина.

При тщательном осмотре я не нашла никакой патологии. Жена Андропова, видимо, узнала меня, лицо ее выразило разочарование. Понимала, что обезболивающих инъекций я делать не буду.

Мне и прежде доводилось встречаться с супругой Юрия Андропова. Она не раз лежала в больнице в неврологическом отделении и непрерывно требовала уколов. Врачом в этом отделении работала моя приятельница. Часто она приходила ко мне за советом:

— Как быть? Что делать? Она не может обходиться без наркотиков...

— Делай сердечные уколы, — советовала я. — Успокоительные, но эти — нет. Ничего с ней не будет, не умрет.

Коллега последовала моему совету. Но жена председателя КГБ оказалась не из безобидных. Пожаловалась больничному начальству, что с ней якобы грубо обращаются... Это в нашей-то больнице! Через несколько дней приятельница-невропатолог без всяких объяснений была уволена. Тогда-то к жене Андропова стали вызывать меня. Но я уже была в курсе ее диагноза: она просто придумывала себе разные недомогания и требовала наркотиков. От успокоительных уколов отмахивалась. Видимо, она привыкла к наркотикам с молодых лет. Может быть, виной тому был фронт. Сейчас мне кажется, что виноваты врачи. Это они уступали ее настойчивым просьбам, подсознательно трепеща пред одним именем ее мужа. Врачи и приучили ее к наркотикам.

Когда она лежала в больнице, всегда спрашивала, кто сегодня дежурит. Если узнавала, что дежурю я, приставала к другим врачам или сестрам, жалуясь на боли в животе. Я приходила, осматривала ее с ног до головы и выписывала другие успокоитель-

ные лекарства, безопасные... Завидя меня еще с порога, она обычно говорила:

— Ах, это вы, Прасковья Николаевна... Значит, ничего не будет.

Однажды в палате я увидела самого Андропова. Он ни во что не вмешивался, только наблюдал, как я осматриваю больную, что говорю.

— Я человек добрый, — сказала я. — Но вредить вам не буду.

— Знаю, знаю, — проговорила больная, усмехнувшись. — О вашей доброте ходят легенды. Но пожалейте меня. Я умираю... Сделайте укол.

— Нет, — ответила я. — Не просите, не сделаю.

Я взяла ее за руку и стала применять свой метод. Меня ведь обучали гипнозу. Я напрягла все свои внутренние силы и продолжала увещевать больную:

— Успокойтесь, пожалуйста. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Выпьем сейчас лекарства. Попьем чайку, чтобы лекарства быстрее всосались в желудок. И подумаем о чем-нибудь хорошем... Вспомните что-нибудь хорошее! У вас все хорошо в жизни. Прекрасный муж, хороший сын. Чего вам не хватает? Успокойтесь... Если бы я рассказала вам о своей жизни, вы бы каждую минуту просили успокоительного... Но я же выдержала все... Почему вы не можете?

Я видела, что она расслабилась. Рука стала мягкой и безвольной. Через минуту сказала:

— Буду спать. Через силу, но постараюсь заснуть... Но больше ко мне не приходите.

Выходя из палаты, я опять увидела Андропова. Сердце мое упало: что он мне скажет? Отругает, конечно... Юрий Владимирович обнял меня за плечи, поцеловал в щеку, сказав только одно слово: «Молодец!» И еще раз повторил: «Молодец!» Взял под руку и проводил до двери.

Мы, врачи, сочувствовали Андропову — жена была его заботой и болью, он очень переживал за нее. И, конечно, это отражалось на его и без того плохом здоровье. Известно, что Юрий Владимирович страдал тяжелым заболеванием: годами его держали на искусственной почке.

Мне нравился Андропов, хотя с виду был человеком аскетического склада: всегда молчаливый, замкнутый, сдержанный.

Много слухов ходило и по поводу его смерти. Больше года он стоял во главе государства. И, казалось, умер слишком внезапно и рано. На самом деле он умер от осложнения своей болезни. Поехал на юг, купался в море, вода была холодная, он простудился... осложнение на почки. На этот раз спасти его не удалось.

БРАСЛЕТ ДЛЯ ВНУЧКИ МАРШАЛА ГРЕЧКО

Выходной день. Наконец-то я дома вместе с семьей! Дочери занимаются своими делами, внуки играют. Мама готовит обед. Муж что-то приколачивает. В общем, все при деле. Только я не знаю, с чего начать: нужно и постирать, и погладить, и пошить, и с внуками погулять. Но настроение хорошее. Все-таки я дома!

И вдруг — телефонный звонок. В трубке слышу голос главного врача Владимира Григорьевича Беззубика: «Прасковья Николаевна! Срочно приезжайте! Машина уже выехала».

Как обычно, никаких объяснений по телефону. Быстро переодеваюсь. Как всегда, никакой косметики. Но на руку машинально надеваю любимый браслет. Спускаюсь вниз, машина стоит у подъезда. Через несколько минут я на работе.

— Прасковья Николаевна, извините, что сорвал выходной, — торопливо говорит главный врач. — Но ситуация чрезвычайная... И с этой минуты вы — не общий хирург, а педиатр-травматолог, к тому же и профессор.

Я онемела.

— Да, да, профессор-педиатр, — продолжал Беззубик. — Умоляю, выручайте! У министра обороны Гречко маленькая внучка сломала руку. Он требует только профессора детской травматологии. А сами понимаете... Сейчас отпускной период. Все профессора разъехались. Надежда только на вас!

Что поделаешь! Я соглашаюсь. По дороге обдумываю предложенную роль. Едем к министру на дачу. Но там девочки не оказалось. Охрана доложила, что ее отвезли в госпиталь, где проходит лечение ее мать. Едем в госпиталь.

С порога вхожу в образ профессора-педиатра. Начальник госпиталя возбужденно рассказывает о происшествии. Оказывается, рано утром трехлетняя внучка министра сломала руку. Ее привезли в военный госпиталь. Но врачи-хирурги не могли ничего сделать. Видимо, до этого случая им не приходилось лечить детей министров. Девочка не дается в руки, плачет. Забилась в угол палаты, и никакими способами ее оттуда не выманить.

— Вся надежда на вас, профессор, — закончил доклад начальник и чуть ли не с мольбой взглянул на меня.

В его сопровождении я поднялась в отделение, где укрылась девочка. Картина была незабываемая. В коридоре у стены стояли навтыяжку несколько военных в белых халатах. Вдоль этого строя нервно взад-вперед ходил министр обороны и распекал своих врачей почему зря. При моем появлении по рядам медиков пронесся вздох облегчения. Гречко

прекратил ругань, бросился ко мне и повторил уже слышанный рассказ...

«Придется играть другую роль, — лихорадочно соображала я. — Внучка грозного министра не должна догадаться, что я врач».

У дверей палаты сняла халат и шапочку, вложила их в руки растерянному маршалу. Попросила его уйти и не показываться на глаза, пока не позову. Когда вошла в палату, увидела маленькую девочку, которая сидела на корточках в дальнем углу, у кровати матери. Я поправила прическу, улыбнулась, быстро сняла со своей руки браслет и подошла к девочке.

— Посмотри-ка, малышка, что я тебе принесла...

Девочка взяла браслет и с интересом стала его рассматривать.

Тем временем я присела на стул около кровати матери, стала задавать ей какие-то вопросы, при этом подмигнула: мол, поддержите мою игру. На мое счастье, в палате оказалась еще одна девочка, примерно шести лет. Как выяснилось, двоюродная сестра пострадавшей.

Прошло минут десять. Малышка вышла из своего укрытия, здоровой ручкой придерживая сломанную. Браслет висел у нее на пальце.

— Тетя... надень, — услышала я ее голосок.

Дальше все пошло по намеченному плану.

— Давайте играть в докторов, — предложила я девочкам. Взяла обеих за руку и повела в перевязочную. Медсестра была уже наготове, мою хитрость поняла без слов. Сначала я взялась за здоровую девочку, наложила гипсовую повязку на ее руку. Игра понравилась моей маленькой пациентке. Она протянула и свою ручонку...

Правда, ребенка пришлось обидеть. Ощупав руку, я определила, что перелом — со смещением. По мо-

ему знаку сестра заранее приготовила гипсовую лангету. Девочка не успела по-настоящему зареветь, как я уже сделала ей вытяжение и вправление костных осколков. Потом положили лангету, забинтовали руку и отправились в рентгеновский кабинет.

Снимок подтвердил, что все прошло успешно.

Надев счастливый браслет, я отправилась домой — догуливать выходной.

ЯБЛОЧКИНА ПРОПАЛА!

Александра Александровна Яблочкина перешагнула девяностолетний рубеж, когда попала в нашу больницу. Все ее болезни являлись следствием столь преклонного возраста. Я же помнила ее совсем другой: на сцене Малого театра. Вот она в роли Софьи из «Горя от ума»... Но особенно хороша была Яблочкина в пьесах Островского. И еще я запомнила ее в «Любови Яровой», где актриса играла роль жены профессора Горностаева.

И вот великая актриса — в больничной палате. Как многие люди ее возраста, Яблочкина страдала бессонницей. Во время дежурства, когда в отделении было спокойно, я нередко засиживалась у ее постели. Слушала ее рассказы о прошлой жизни, всякий раз поражаясь тому, как великолепно она владела словом. Александра Александровна и поведала мне историю любви. Историю драматичную. И в чем-то даже уникальную. Описываю так, как рассказывала актриса.

Она родилась в Петербурге. Актерскому мастерству училась у знаменитой актрисы Гликерии Федотовой и своего отца. Он был актером и режиссером одновременно. И звали его тоже Александр Александрович. Ей не было и двадцати, ког-

да она начала выступать на сцене Тифлисского русского театра. Внешность у нее была ангельская, хороша была необычайно. В этом же театре первые роли играл красавец актер — сын богатых и знатных родителей. Молодые люди полюбили друг друга и решили пожениться. Но родители возлюбленного стали прямо-таки стеной против этого брака.

— Они не хотели, чтобы сын женился на актрисе, да еще начинающей, — рассказывала Яблочкина. — Ведь это было еще в прошлом веке... В провинции актриса считалась чуть ли не женщиной легкого поведения.

Прошло время. Возлюбленный женился. Яблочкина же осталась навсегда верной своей первой любви. В ее жизни не было ни одного мужчины... Об этом даже ходили анекдоты, которые Александра Александровна с юмором рассказывала.

Воспоминания утомили актрису. Я дала ей успокоительное. А возле палаты установила на ночь индивидуальный пост. Медицинской сестре наказала строго-настрого никуда не отлучаться. Как выяснилось позже, медицинская сестра, неотлучно находившаяся около палаты, все-таки задремала, сидя на стуле. Проснулась ночью от какого-то невнятного шума или шороха. Вбежала в палату, а больной на кровати нет. Прибежала ко мне:

— Прасковья Николаевна! Яблочкина пропала!

Я поспешила в палату. Яблочкиной на кровати не было. Включила свет. И вдруг из-под кровати услышала незабываемый голос актрисы:

— Лев Николаевич! Где вы, Лев Николаевич?

Боже ты мой! Что еще за Лев Николаевич? Мы подняли актрису, снова уложили в постель. Упала она удачно, просто скатилась с кровати во сне: никаких ушибов я не обнаружила.

— Кого это вы искали там, под кроватью? — решила я пошутить. — Кого звали??

— Как кого? — вполне серьезно ответила Яблочкина. — Льва Николаевича Толстого.

Уже днем, когда актриса оправилась от падения и пришла в себя, она рассказала о своем знакомстве и встречах с великим писателем...

— Я ходила на его похороны, — рассказывала она. — Ведь когда Толстой умер, мне было уже сорок четыре года. А когда случилась революция, я прожила уже половину жизни. Считайте меня осколком империи.

Яблочкина умерла от старости. Ей было около ста лет. Она действительно была девственницей. В этом мы убедились на вскрытии.

НЕ МОЙ ПАЦИЕНТ — ТВАРДОВСКИЙ

Я видела Твардовского один раз, говорила с ним недолго. Но запомнила навсегда. Твардовский был для меня мифом. Еще с войны чуть ли не наизусть я знала «Теркина». А потом — его лирические стихи. Особенно любила стихотворение про перевозчика: «Перевозчик, перевозчик, старичок седой, перевези меня на ту сторону, сторону — домой», — может быть, потому, что оно вызывало в моей памяти картины детства и родной деревни.

Как сейчас, помню, вызвали в приемное отделение. Я спустилась из ординаторской на первый этаж. В приемной стоял Твардовский, не узнать его было невозможно. Выглядел он неважно: грустный, бледный, погруженный в собственные мысли.

— Дежурный хирург, Мошенцева Прасковья Николаевна, — представилась я как положено. — Хочу вас осмотреть.

Александр Трифонович грустно улыбнулся и тихо сказал:

— Я не ваш пациент, доктор. Вы мне ничем не поможете. Не обижайтесь, но это так.

В истории болезни прочитала ужасный диагноз: «рак с метастазами в головной мозг». Правда, явных признаков поражения мозга пока видно не было. Только затрудненность речи, землистый цвет лица, усталый вид. Но это пока...

Я все же осмотрела Твардовского и как можно спокойнее сказала:

— Действительно, в хирургическом отделении вам делать нечего, нужно лечиться в неврологическом.

Твардовский насмешливо взглянул на меня.

— А если говорить откровенно, доктор, то мне вообще в больнице делать нечего.

В том же спокойном тоне я стала убеждать Александра Трифоновича в необходимости лечения. Советовала лечиться не в нашей больнице, расположенной в городе, а в Центральной клинической, где условия много лучше: можно гулять, дышать свежим воздухом... Возможно, Твардовский прислушался к моему совету: его перевели в ЦКБ.

Я вообще придерживаюсь точки зрения, что смертельно больной человек не должен знать своего диагноза. Зачем лишать его надежды, пусть иллюзорной? Убеждена: надежда поддерживает, безнадежность ускоряет роковой исход...

Твардовский умер через несколько месяцев. Много говорили о его запоях, о пристрастии к алкоголю. Но в медицинских документах об этом недуге не было сказано ни слова.

Когда бываю на набережной Тараса Шевченко, подолгу стою у его дома, перед мемориальной доской писателя. Сокрушаюсь о несовершенстве меди-

цины, которая не смогла продлить ему жизнь. И повторяю про себя строчки его стихов, написанные по другому поводу. Вот эти: «Я знаю, никакой моей вины... Но все же, все же, все же...»

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ МАРИЭТТЫ ШАГИНЯН

С известной советской писательницей Мариэттой Сергеевной Шагинян я была знакома задолго до того, как ее положили в наше отделение. Маленькая, необычайно энергичная и подвижная, она была глухой. Но, видимо, будучи человеком философского склада, не делала из этого трагедии. Напротив, Шагинян всегда подшучивала над своим недугом, никогда не избегала человеческого общения: она любила изучать людей. Должно быть, сейчас мало кто знает это имя. В годы советской власти она была известна прежде всего как автор эпопеи «Семья Ульяновых». Казалось, о Ленине и его семье она знает все. Причем много такого, что даже и напечатать нельзя. Во всяком случае, так она рассказывала.

Мариэтта Сергеевна узнала меня сразу, лишь только я появилась на пороге палаты.

— А-а, дева Мария? — раздумчиво произнесла она.

Видя мои протестующие жесты добавила:

— Знаю, знаю, что вы — Прасковья. Но это дела не меняет: для меня вы — дева Мария, исцелительница.

Я спросила, за какие это заслуги причислена к лику святых.

Шагинян напомнила, что когда-то я вылечила ее от какой-то болезни. Сделала то, что не удавалось другим врачам.

Память ее меня поражала. Даже в преклонном возрасте Мариэтта Сергеевна сохранила ясность мысли, быстроту реакции, живость характера. Как-то сказала:

— Прасковья Николаевна, знаете, почему я так долго живу? Потому, что ничего не слышу. Ни плохого, ни хорошего!

Шагинян засмеялась, а я подумала: все-таки было бы хорошо, если бы она могла слышать.

В те годы слуховые аппараты были большой проблемой. Но Кремлевской больнице было доступно то, что невозможно другим. Слуховой аппарат для Мариэтты Сергеевны удалось заказать. Я сама поехала в мастерскую, рассказала мастеру об этой удивительной женщине, о ее книгах. Он обещал все сделать исправно.

Когда слуховой аппарат, наконец, был изготовлен и доставлен в больницу, меня в отделении не было. Мариэтту Сергеевну я смогла навестить только вечером, в одиннадцатом часу. Вошла в палату. Мариэтта Сергеевна возилась с аппаратом, была не в духе и довольно резко попросила меня выйти. В полном недоумении я ушла. Хотя знала, что смена настроения случалась у нее нередко и многие считали ее вздорной старухой. Однако вскоре медсестра попросила меня зайти. Мариэтта Сергеевна казалась довольной. Слуховой аппарат был налажен. Первым делом в свойственной ей ироничной манере отругала меня за присутствие на работе в столь позднее время:

— Небось дома-то заждались... У вас ведь — дети, семья. А вы всегда на работе, дева Мария...

— А вам-то, Мариэтта Сергеевна, зачем об этом беспокоиться? — не очень вежливо ответила я, памятуя о недавней обиде.

Шагинян улыбнулась:

— Помните, доктор, я вам объясняла, почему так долго живу? Потому, что не слышу. Вот вам и доказательство. Если бы не слышала вашей колкости, заснула бы себе спокойно. А так буду долго ворочаться...

Обида моя вмиг исчезла. Я тоже разулыбалась, довольная, что первые слова, которые она услышала с помощью аппарата, были сказаны мной. А прожила Мариэтта Сергеевна девяносто лет. Действительно, знала секрет.

ГОСПОЖА МИНИСТЕРША

Врачи тоже умирают...

Умер заведующий хирургическим отделением главной «кремлевки» Иван Васильевич Дьячков. Я очень переживала: мне хорошо было работать под его началом. Он был, как говорят сейчас, человеком контактным. Иван Васильевич страдал болезнью сердца. Старался тренировать его: не пользовался лифтом, много ходил, парился в бане. В бане и скончался.

Должна сказать, хирургическое отделение, которым заведовал Дьячков, было очень сильным по составу. У нас работали опытные врачи. И не только врачи: высокий профессионализм отличал медицинских сестер и даже нянечек. Будь моя воля, кремлевских медсестер я бы аттестовала как врачей. Они всегда всем интересовались и очень много знали. По умению, изобретательности, ловкости многих из них я поставила бы выше врачей. Ведь каждая повязка для сложного больного — это изобретение именно медсестры. Часто думаю, почему есть звание заслуженного врача и почему нет заслуженных медсестер.

Но я отвлеклась. Добавлю, что врачи, медсестры, нянечки работали в «кремлевке» годами. Очень редко случались увольнения, и столь же редко люди уходили сами. Поменять врача было большой проблемой, одна проверка кандидата длилась иногда месяцев шесть.

И все же довольно быстро на место Дьячкова назначили другого врача: опытного специалиста, бывшего фронтовика. Человек он был прямой, может быть, даже излишне, с обостренным чувством справедливости. Эти качества его и подвели. Проработал он в «кремлевке» недолго. Был уволен. А случилось это так.

Я уже писала, что в нашем отделении были палаты для особо привилегированных особ. Однажды в такую палату положили министра судостроения, товарища Носенко. Министр как министр, ничего особенного. Спустя несколько дней в это же отделение поступила жена министра с неопределенным диагнозом. Мы обследовали ее и так и сяк, но никаких заболеваний, оправдывающих госпитализацию, не нашли. Правда, такое случалось нередко. Пациенты кремлевских спецклиник порой и не были слишком больны. Просто отдыхали, обследовались, укрепляли здоровье, а иногда и переживали неприятности по работе. Но эта дама оказалась не по чину властной и энергичной. Без всякого разрешения, самовольно переселила мужа-министра в обычную палату, а сама заняла палату привилегированную.

Во время утреннего обхода врачи были неприятно удивлены этой рокировкой. Заведующий отделением довольно резко спросил:

— Мадам, кто позволил вам распоряжаться в отделении? Эта палата не для вас.

Что тут началось! Министерша подняла крик, как на базаре, на голову заведующего да и других вра-

чей посыпался град оскорблений. Мы остолбенели. Заведующий не выдержал:

— Прекратите орать! Нахожу у вас единственную болезнь: моча в голову ударила.

На этот раз остолбенела министерша и пригрозила врачу увольнением. Так и случилось. Буквально на следующий день заведующий был снят с должности.

Правда, возмездие настигло и госпожу министершу. Недаром говорят в народе: «не рой другому яму». Сын Носенко служил в органах КГБ. Совершенно неожиданно для всех сбежал за границу и стал сотрудничать с иностранной разведкой. Разумеется, министра с должности сняли, лишив его и супругу всех привилегий.

Конечно, были в нашей больнице и другие случаи, когда пациенты вели себя вызывающе. В основном жены высокопоставленных особ. Вспоминать их неприятно. Мы, врачи, были для них «черной костью», окологремлевской обслугой, на которую они смотрели свысока. Одна дама устроила скандал из-за того, что врачи отказались удалять ей жир на животе. Перед этим призналась, что муж якобы изменяет ей. Захотелось быть стройной.

В другой раз после очередного дежурства я шла по коридору, где неспешно прогуливались «кремлевские жены». Одна из них, перебив другую, громко сказала:

— Ох! Но врачи — ведь тоже люди...

Я очень устала после трудного дежурства и, не выдержав, довольно резко сказала:

— Да. Представьте, мы — тоже люди... И от вас отличаемся только одним: слишком много работаем.

Женщины опешили. А я потом долго корила себя: зачем связалась?

ПОСЛЕСЛОВИЕ, или Нить Ариадны

В 1981 году я ушла на пенсию. Мне было 68 лет. Сейчас, когда я заканчиваю свои записки, уже нет Кремлевской больницы в Сокольниках, нет ее и на Грановском. Нет и самой улицы Грановского. Теперь это Романов переулок. Да и страны под названием Советский Союз больше не существует. Все изменилось.

Герои моих записок тоже ушли в небытие: одни умерли, других забыли. Так зачем же я пишу эти записки? Конечно, для детей и внуков. Хочу, чтобы они узнали правду о моем времени. Сейчас советскую жизнь все больше чернят. Но если бы меня спросили, хотела бы я другую судьбу, — я бы ответила: нет!

Мне все чаще кажется, что жизнь моя похожа на сказку. Как будто пронеслась я на волшебном ковре-самолете. Наверное, столь насыщенную, богатую событиями жизнь можно было бы разделить на многих. Но вот чудо — досталась она мне одной.

Теперь я провожу свои дни дома. По-прежнему люблю вышивать и вязать, хотя глаза уже слабеют. И часто вспоминаю миф о богине Ариадне, который когда-то рассказал мне Валентин Катаев. Наверное, и в нашу бедную, полуразрушенную избушку бросил кто-то клубок с волшебной нитью и прошептал мне: «тяни». Может быть, это была старуха колдунья, которая вылечила мне в детстве ногу? Или тихая монашка Феня? Не знаю... Но шагая из одного десятилетия в другое, я все время спешила. Боялась остановиться, чтобы не выронить, не потерять эту волшебную нить своей судьбы.

Да и сейчас еще удерживаю ее в руках...

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ, или Шутка классика	5
--	---

ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА

Деревня Паревка и река Ворона	12
Лицо на почтовой марке	14
Легенда о прадеде-убийце	16
Отец и Антоновское восстание	19
Цыганенок и колдунья	22
Первая операция	24
Грустные песни мамы	25
Детский дом и покровитель Василий	28
Техникум, голод и монашка Феня	30
Я учусь в медицинском	35
Жилище мертвецов и уникальная удавка	38
Студенческий роман	41
Нож под подушкой и взрыв вместо выпускного вечера	43

ВОЙНА. ФРОНТОВОЙ ГОСПИТАЛЬ

Мой муж — сотрудник НКВД	47
В Москву! В Москву!	48
Госпиталь в Парке культуры	50
Майор медицинской службы и его коллеги	52
Смерть на лету	55
Наш помощник — карманный вор	57
Две бутылки со спиртом	60
Волки — звери, люди — волки	62
В клинике профессора Бакулева	72

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Дунайское кладбище	76
Вальс с Тито	78
Украли диссертацию!	80
Париж! Неожиданные предложения	82
Мой конкурент — эмигрант Ильин	85

Моряк с раздробленной рукой и другие...	88
Мама бросается в шахту лифта	92
Фото для рекламы	95
«Дело врачей». Отголоски в Париже	96
Покушение	100
Самоубийство в посольстве	104
Незнакомки с портрета Крамского	107
Доктор Лякур и посол Павлов	110
Украли трусы...	112

ДОМ В ЛАВРУШИНСКОМ

Загадочная история нашей квартиры	114
Нежданная встреча	117
А у нас во дворе...	119
Жены и дети	122
Драмы и трагедии	123
Юрий Олеша и три «я»	126
Разговоры на скамейке	127
Друзья и соседи	132

КРЕМЛЕВСКИЕ БОЛЬНЫЕ

«Кремлевка» в Сокольниках. Врачи и пациенты	137
Учусь гипнозу	141
Полы паркетные — врачи анкетные	143
Букет для Петра Алейникова	145
Смерть Шпагина	147
Диагноз: «сифилис»	149
Маршал Рокоссовский	153
Шолохов и Малик	155
Усы Буденного	158
Будда и Цеденбал	160
Последнее желание маршала Василевского	162
Марк Рейзен и Иосиф Сталин	165
Не наш контингент	168
Назидание Сталина «богу войны» Воронову	171
Леонид Утесов и куриная нога	174
«Диурез» из палаты номер 6	176
Поль Робсон	179
Белый гриб от архитектора Власова	183
Выстрел Леонида Соболева	187

Лекарство для баса	189
Анекдот от Хрущева	190
Адмирал флота и общественное мнение	196
Три встречи с Леонидом Брежневым	198
«Зарезали» ли мы Королева?	203
Как я кормила маршала Жукова	210
Головная боль Галины Брежневой	213
Андрей Громыко и врач-отравитель	217
Бег по лестнице с Семеном Цвигуном	221
Первая жена Шаляпина	222
Собаки у гроба	225
Редкий случай в медицине	227
Просьба Шостаковича	229
Обида Расула Гамзатова	232
Наш черный юмор	234
Визит на дачу Андропова	236
Браслет для внучки маршала Гречко	239
Яблочкина пропала!	242
Не мой пациент — Твардовский	244
Секрет долголетия Мариэтты Шагинян	246
Госпожа министерша	248
ПОСЛЕСЛОВИЕ, или Нить Ариадны	251

Мошенцева П. Н.
М 38 Тайны Кремлевской больницы. — М.: Коллекция «Совершенно секретно», 1998. — 256 с., 16 л. ил. на вкл.

Записки хирурга Прасковьи Мошенцевой, более тридцати лет проработавшей в Кремлевской больнице, — это предельно откровенные, подчас субъективные воспоминания о том, как девочка из глухой тамбовской деревни очутилась в Москве, поселилась в знаменитом писательском доме и попала в «святая святых» отечественной медицины. Она лечила Хрущева, Брежнева и Громыко, ее пациентами были Сталин, маршалы Жуков, Рокоссовский, Василевский, актеры Яблочкина, Алейников, композитор Шостакович, певцы Лемешев и Рейзен, писатели Шолохов и Твардовский, а также многочисленные «кремлевские жены и дочери». Она присутствовала при последних минутах жизни Сергея Королева и многих других знаменитых людей.

Читателям предоставляется возможность познакомиться «из первых рук» с тайными сторонами жизни руководителей государства и советской элиты.

Прасковья Николаевна Мошенцева

**ТАЙНЫ
КРЕМЛЕВСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ**

**Редактор М. Стояновская
Технический редактор Л. Самсонова
Корректоры А. Лазуткина, Л. Логунова
Компьютерная верстка Л. Фирсовой
Изготовление диапозитивов Д. Попикова
OCR - Давид Титиевский, май 2017 г., Хайфа**

**Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 95 3000 — книги, брошюры.**

ЛР № 063742 от 13.12.94.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 11.08.98. Формат 84x108/32.

Бумага на текст тип. № 2, на вкл. — офс. Гарнитура Newton.

Печать текста высокая, вкл. — офсет. Усл. печ. л. 15,12 (в т. ч. вкл.1,68).

Уч.-изд. л. 13,07 (в т. ч. вкл. 1,25). Тираж 15000 экз. Заказ 3015. С 92.

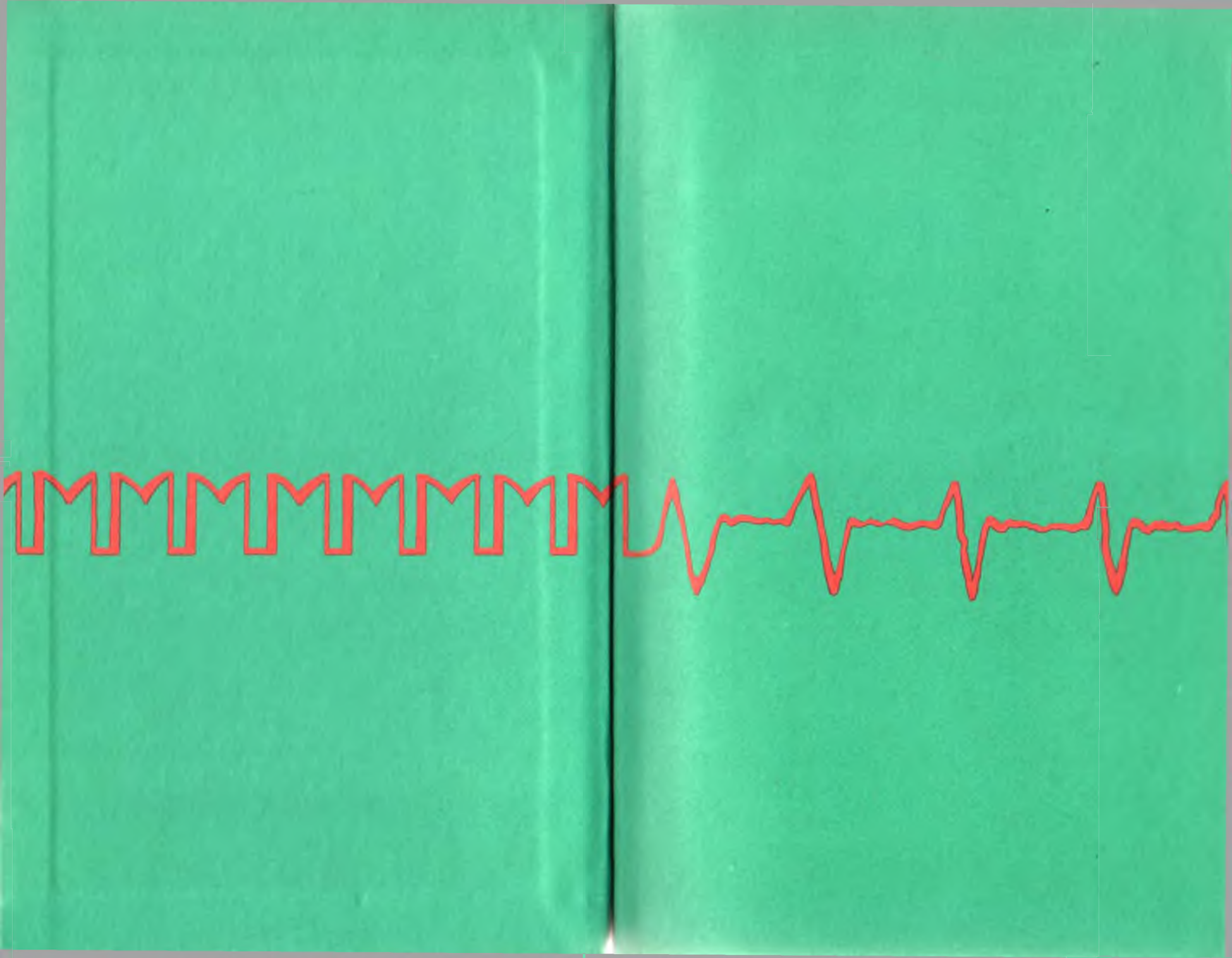
**Набор и верстка выполнены ТОО «Коллекция «Совершенно секретно».
109004, Москва, ул. Земляной вал, д. 64, стр. 1.**

**Отпечатано на Тверском ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР
Государственного комитета Российской Федерации по печати.
170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.**



**По вопросам оптовых закупок обращаться:
109004, Москва, ул. Земляной вал, д. 64, стр. 1, комн. 405.
Офис: (095) 915-80-59, 915-80-13;
тел./факс: (095) 915-80-37
оптовый склад: (095) 465-12-00**

**Вы можете приобрести наши книги
по издательским ценам в отделе реализации.
Тел.: (095) 915-80-59, 915-80-13**



СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО



Прасковья Николаевна МОШЕНЦЕВА —
врач-хирург;
более 30-ти лет проработала
в «святая святых» советской медицины —
Кремлевской больнице.

